

БИБЛИОТЕКА



ОГОНЁК

№ 2

1975



Анатолий КАЛИНИН

ЦЫГАН

(ОКОНЧАНИЕ).

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА

Анатолий КАЛИНИН

ЦЫГАН

Издательство «ПРАВДА»
Москва. 1975

Анатолий Вениаминович Калинин
ЦЫГАН

Редактор — А. В. СОФРОНОВ.

Технический редактор А. И. Евтушенко.

© Издательство «Правда». «Огонек» 1974.

Сдано в набор 26/XI 1974 г. А 00515. Подписано к печати 3/II 1975 г.
Формат 70×108^{1/2}. Объем 2,80 условн. печ. л. 4,01 учетно-изд. л.
Тираж 100 000. Изд. № 501. Заказ № 3084. Цена 8 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография
газеты «Правда» имени В. И. Ленина, 125865, Москва, А 47, ГСП,
ул. «Правды», 24.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

(Окончание ¹)

По ночам в прибрежных талах за Доном и в вербном лесу на острове шуршало и грещало так, как будто там стадами бродили забытые нерадивыми хозяевами телята, и ни единой лодки не оставалось на приколе у хуторского берега, неумоимо хлюпали весла, раздавался над водой откровенно счастливый, воркующий женский смех вперемешку со стыдливо приглушенным, мужским. И хотя бдительные старшины, соблюдая строжайший приказ своего начальства, зорко стерегли расквартированных по хутору курсантов, у каждого дома не поставишь по старшине, а этот большой казачий хутор, на километр растянувшийся по берегу Дона, смахивал скорее на станицу.

А наугро на осенних огородах и виноградниках женщины обменивались между собой самыми последними известиями и сводками с переднего края этой минувшей ночи любви. Катька Аэропорт, состригая секатором с виноградной лозы гроздь и укладывая их в плетеную корзинку, то и дело разгибалась и потягивалась, похрустывая всеми косточками.

— Э-эх, подруженьки, мне бы сейчас наподобие Валентины Терешковой вокруг Земли полетать.

Подруженьки недоумевали:

— С какой же стати?

— Чтобы вы за это время вместо меня норму выполняли, а про меня по радио сообщали: «У космонавта Екатерины Калмыковой в данный момент по графику отдых».

Подружки советовали:

— Ты бы лучше, Катька, попросила сельсовет тебе твоего сержанта на какого-нибудь другого квартиранта сменить.

Катька наотрез отказывалась:

— Не могу.

— Почему?

— Потому что злее рыжих никого не бывает в любви,— и, сочно зевая, прикрывала ладонью накрашенный рот.— Все равно я бы согласна была, чтобы эти военные учения проводились в нашем хуторе круглый год. Мне с такими подобными квартирантами никогда не бывает скучно. Это вот только временная напарница моя не знает, куда ей себя со своим квартиран-

¹ Начало четвертой части см. Библиотеку «Огонек» № 1, 1975.

том от скуки девать.— И Катька скашивала глаза в сторону Клавдии Пухляковой, тоже обстригающей секатором с куста гроздья.— Я бы, Клавдия, на твоём месте знала, что мне делать. Какого же тебе ещё нужно, а? Ещё моложавый, недурной и при таком чине. А самое главное, неженатый.— С игривого Катька переходила на деловитый и горячо убеждающий тон: — Какого тебе ещё рожна?! Тебе счастье привалило прямо в дом, осталось только руку протянуть, а ты ещё чего-то ждёшь. Везет же людям! Уж я бы на твоём месте знала, как надо с твоим полковником обойтись.

Взглянув на ее раздувшиеся ноздри, на приоткрывшийся рот, обнаживший влажные зубы, можно было не сомневаться, какая участь могла бы ожидать этого самого полковника, окажись он на квартире у Катьки. Хорошо зная ее характер, Клавдия только улыбалась, и, разочарованная ее молчанием, Катька Аэропорт заключала:

— Ну, а если ты такая бесчувственная, то повыполний тут пока норму за меня, а я полчаса передремну. Моченьки моей больше нету. И смотри не забудь меня под бок ногой ширнуть, если наш драгоценный бригадир или же сам председатель, не дай бог, нагрывает.

И, повалившись ничком на землю в тень виноградного рядка, она тут же мгновенно засыпала. А через минуту, сморенная внезапным приступом сна, валилась на теплую землю какая-нибудь женщина в соседнем рядке, не выпустив из руки секатор. То и дело то в одном, то в другом рядке колхозной виноградной плантации, как подкошенные, падали под кусты женщины и молодые девушки, а их верные подружки в это время начинали вдвое быстрее щелкать секаторами, выполняя и за них норму, чтобы вскоре так же повалиться на землю. Посменно одни валились между рядами, а другие оставались на посту, сторожа короткий сон друг дружки от взоров бригадиров и другого начальства, которому равным счетом никакого не было дела до того, что женщинам обязательно надо было хоть немного набраться сил перед очередным бодрствованием на переднем крае новой ночи любви. Известно, что бригадирам и агрономам только норму подавай.

А в теплой осенней степи, среди позолоченных солнцем спелых гроздьев, под мелодичное пощелкивание секаторов так сладко спалось!

Напрасно Тимофей Ильич, объезжая виноградники и фермы, грозил, что специальным решением правления раз и навсегда прекратит эти позорные ночи любви, будет лично патрулировать по Дону на моторке, а по кустам краснотала ревизию наводить, иначе так до заморозков и останется висеть на лозах виноград. Никто не пугался его угроз. Катька Аэропорт, когда он

как-то принародно постыдил ее, что у нее скоро останутся кожа да кости, а глаза совсем провалятся от этих бесконечных дежурств на воде и за Доном в кустах, ничуть не обидевшись на него, заиграла своими изумрудами и отпарировала:

— Это вы какую-нибудь другую, Тимофей Ильич, постыдите, а мне, слава богу, незачем прятаться по кустам. Мне и дома на моей кровати с пуховой периной хорошо. И насчет моей кожи да костей, если вам лично неизвестно, вас полностью может в курс дела мой рыженький квартирант ввести. Это я только на вид худая, а так у меня все на месте.

И для убедительности она так извернулась перед Тимофеем Ильичом бедрами и всем телом, что он даже попятился.

— Тьфу, бессовестная! С тобой только свяжись.

Присутствующие при этом разговоре женщины садовой бригады смеялись, а Катька серьезно соглашалась:

— Вот это верно. По этому сугубо личному вопросу вам лучше не связываться со мной. Потому что никто мне не может запретить и за всю мою прошлую одинокую жизнь теперь отлюбить и для запаса на будущее прихватить. Вот скоро уедут курсанты, и тогда я опять начну говеть. Тогда вы меня можете за мое примерное поведение хоть на доску почета помещать.

— Как же, поговеешь ты,— захлопывая дверцу «Волги», бормотал сконфуженный Тимофей Ильич. Даже он, привыкший к остроязычию хуторских казаков с детства, к этой неприкрытой откровенности Катьки Аэропорт привыкнуть не мог. Но все-таки на прощание, откручивая боковое стекло «Волги», он еще раз высовывал голову: — Но, смотрите, если вы мне на винограднике нормы завалите, я из вас душу вон!

Катька охотно подхватывала:

— Вот это другое дело. Тут вы над нами вправе свою власть показать. И мы вам должны подчиняться, на то вы и предколхоза. Но вы, Тимофей Ильич, можете не беспокоиться, мы и на этом виноградном фронте вас с нормами не подведем. У нас и на это еще хватит сил. Все будет сделано, Тимофей Ильич.

И, провожая отъезжающую председательскую «Волгу», по военному лиху козыряла, но только прикладывая руку не туда, куда обычно положено, а к своему выгнутому далеко в сторону бедру. У женщин от смеха падали из рук на землю секаторы, и по губам отъехавшего от них на «Волге» Тимофея Ильича еще долго блуждала улыбка. Вот и попробуй после всего этого обидеться на Катьку Аэропорт.

И чем ближе подходил срок окончания этих военных учений, тем, казалось, неистовее раздавалось хлюпанье весел на Дону, откровенней звучал молодой счастливый смех на воде и в задонском лесу, а в прибрежных кустах краснотала опять до

самого утра шуршало так, как будто бродили там телята, забытые их хозяевами на ночь.

А тут еще опять вернулось тепло. Наконец-то отбушевали черные бури, и опять стало не просто, а по-летнему тепло, даже жарко. Днем под крутыми склонами бугров, отгородивших хутор от степи, в улочках и проулках застаивалась духота, а ночью она сползала с горы к Дону. Клавдия, которая из-за духоты в доме перешла спать во двор под вишни, вздрагивала, разбуженная песней, отражаемой Доном так, как будто ее запевали над самым ухом:

Потерял, растерял я свой голосочек...

И, обрывая песню, Катька Аэропорт начинала дурашливо смеяться и шлепать веслом по воде так, что сверху из хутора было видно, как вспыхивают при месячном свете капли. После этого Клавдия уже до самого утра не могла глаз сомкнуть. Проклятая Катька! С глаз Клавдии как будто чья-то рука срывала повязку сна, и он уже больше не возвращался к ней. Нечисто пропадал, как если бы на завтра на рассвете ей не надо было идти на птичник, а оттуда, оставив кур на Ньюру, бежать на виноградник в степь.

Слышала она и то, как возвращался с последнего киносеанса в клубе Ваня, стараясь бесшумно прошепнуть мимо матери в дом; и то, как уже далеко за полночь Петька Чекуненко подвозил до угла улицы на своем мотороллере Ньюру, и потом они еще долго топтались там на углу, целуясь при невыключенном моторе. Даже и во дворе под одной простыней нестерпимо жарко было спать, она облипала тело, и Клавдия сбрасывала ее с себя. Но тут после полуночи с берега Дона тучей налетали на хутор комары. Со своего места из-под вишен Клавдия видела, что и Андрею Николаевичу, полковнику, не спалось, он выходил из дома и стоял, белея майкой на крыльце, и тоже, конечно, слышал это шлепанье весел по воде, залихватый смех Катьки Аэропорт, шуршание в талах. Почему-то Клавдия уверена была, что при этом он тоже думает о том же, о чем думала и она: что безвозвратно проходит жизнь, те ее годы, когда человек еще может на что-то надеяться и чего-то ждать... Вот кончатся эти учения, откочуют из хутора курсанты, уедет и Ваня с полковником, и опять Клавдия останется в доме вдвоем с Ньюрой. Опять не слышно будет в доме мужских голосов, тяжелых шагов и этого солонцеватого, терпкого запаха, к которому она успела привыкнуть за это время. Днем еще ничего, еще можно забыться среди людей, а вечером, когда Ньюра будет уходить на гулянки, опять одна, совсем одна. А потом, может быть, и Ньюра уедет, увезет ее с собой тот же Петька Чекуненко, который собирается в архангельские леса зарабатывать себе деньги на

«Волгу», — не век же ей при матери сидеть. И тогда уже наступит совсем полное одиночество. Она насмотрелась, хорошо знает, как в хуторе одинокие, бездетные вдовы живут или же те женщины, от которых уже отлетели их дети. Слоняйся по дому и по двору, готовь сама себе и убирай сама за собой, разговаривай тоже сама с собой, а если хочешь, то еще с курами или же с коровой, которая будет смотреть на тебя ласковыми глазами, но так ничего и не скажет, и кошка тоже будет ходить за тобой по дому и по двору, тереться об ноги. А потом зашуршит бесконечный дождь по окнам, опять придут нескончаемо длинные зимние ночи. И тогда хоть кричи. А если, не дай бог, заболеешь и сляжешь, некому даже будет воды подать.

Конюшня, в которой ночевали колхозные лошади, была через балку от двора Клавдии, и ночами она, слыша, как постукивают копытами по дощатому настилу и шумно отфыркиваются лошади, покаяться могла, что это громче всех вздыхает и не стучит, а прямо-таки с неистовой яростью ломает стенки своей деревянной клетки конь Будулая. Вот-вот вырвется он и умчится в степь — вдогонку тому, о ком он так тяжело вздыхает.



Еще выпадали росы, но уже предвещающие, что однажды, разомкнув глаза под сенью куста, не мудрено будет увидеть на листе вместо прозрачных слезинок и твердые блестящие инея. И сколько бы ни намащивал он с вечера под бока мягкой палой листвы, как бы ни натягивал на себя свою старую плащ-палатку, к рассвету мурашками так и осыпало его всего, и, забираясь всюду, они щекотали и кусали, как будто иголочками пропарывая кожу.

Ветер, продувающий стенки придорожных лесополос, нагребал перед мотоциклом сугробы косматых клубков перекаченного. Уже почти на излете оказалась и эта стрела, вспарывающая своим жалом его карты. И чем дальше забиралась она в глубь памяти, чем больше нанизывалось на нее встреч с мертвыми и с живыми, тем как будто круче становился путь, и то ли это мотор его мотоцикла начинал временами захлебываться на этом крутом подъеме, то ли еще что-то другое.

— Я тебе завидую, Будулай. Если бы у меня тут не своя война, я бы тоже попросился к тебе на раму. Взял бы?

— Если ты не будешь против, чтобы мой сундучок к тебе на спину перекечевал.

— На моей спине, как ты помнишь, и не такой груз себе место находил.

— Это я помню.

И, окидывая взглядом могучие плечи своего друга, невольно вспоминал Будулай, какой тот приволок на себе груз в самый последний раз, когда корпус уже вышел к Австрийским Альпам. Доставленный сержантом разведки Ожогиным в дивизию «язык» весил за сто килограммов, и тащить его надо было на спине два километра.

— Как на передовой живу, — отвечая на взгляд Будулая, пояснил Ожогин. — Но то была война с врагами, а тут попробуй пойми. Браконьер ходит где-то рядом с тобой и даже выступает на собраниях за коммунизм, а где-нибудь в лесной глуши он хуже, чем волк. У волка только и оружия — его природные зубы и ноги, а у него — мотор, бензопила «дружба», ружье с оптическим прицелом и даже самодельная граната для глушения рыбы. По сравнению с ним твои сородичи, Будулай, которые опять стали приворовывать по пути своего кочевья колхозных лошадей, жалкие кустари. Не какое-нибудь бревнышко на стропила дома норовит уволочь, а целый лесовоз кругляка. Не копейку для своей буренки, а сразу десять тонн госфондовского сена, затюкованного и уложенного на зиму в скирды. Не два-три вентерька поставить, а капроновой сетью или сотней переметов перехватить горло Дона или Донца, а то и выглушить за какие-нибудь полчаса в лесу озеро с карпами.

На стенах мезонины, где с утра уже далеко за полдень засиделись они, вспоминая фронт, трепетали отблески волнуемого ветром леса, а по некрашеным бревнам скользили тени тех, чье посвистывание, пиликанье, ржавый скрип врывались в раскрытое наружу окно. Из окна сквозь стволы молодых сосен, обступивших дом, сквозила синева Северского Донца.

— Никогда не думал, что и после войны на земле эта пакость может быть.

Ожогин даже встал и заходил по тесному мезонину взад и вперед, круто разворачиваясь на месте. Половицы прогибались под тяжестью его шагов. И только когда он, останавливаясь, начинал к чему-то прислушиваться, слабая улыбка вдруг разползалась по его лицу, сплошь обросшему, как, должно быть, и полагалось ему по его должности лесника, клочьями бурого меха. Вот и этот друг Будулая, склоняя голову набок, прислушивался к тем звукам, которые тоже доносились до него из низов дома, но это были совсем другие звуки. Как будто там, в низах, все время что-то катали по полу или же какой-то зверек бегал по коридору и по всем комнатам взад и вперед на упругих лапках. И опять, круто развернувшись на месте, Ожогин заглушал этот гул своими шагами.

— У меня даже уши стали шевелиться на каждый шорох в лесу. Особенно после того, как мы с Северного Кавказа фазанов завезли. И лосей никогда здесь раньше не было, а теперь

даже приходится отстреливать их ежегодно по восемь—десять штук, потому что и колхозы уже стали жаловаться: сады грызут. Но лично у меня, Будулай, после войны как-то не налегает рука. Совсем уже поднимешь ружье, а из-под этих расчудесных рогов вдруг глянут на тебя прямо-таки человеческие, с поволокой глаза, и будто кто снизу твоё ружье подбьет. А он тут же развернется — и от тебя в лес вот так... — И по волнообразному движению его руки Будулай явственно представил себе, как уходил в лес этот лось. — Но браконьеру, конечно, все равно, с поволокой или без поволоки, ему как раз и не терпится вклеить из своего нового карабина прямо между этих глаз. — Ожогин махнул рукой и, возвращаясь на свой стул, круто повернулся к Будулаю, меняя разговор: — Неужто и донскую элиту на вашем конезаводе удалось сохранить?

— Да, — подтвердил Будулай.

— А я, признаться, как услышал по радио, что уже и до распашки задонских лугов дошло, так и решил, что теперь она тоже на колбасу пойдет. На казы. А какие всегда по Задонью были займища, какие травы! Ты там, конечно, из нашего корпуса прилепился к генералу Стрепетову не один.

— Не один.

— Но ты у него, как табунщик, на вес золота должен быть. Как-никак помесь цыгана с казаком. Вот уляжется эта перестрочная черная буря, и вас за сохранение донской чистокровной еще будут орденами награждать. В наше время это подвиг. Так и надо, сцепи зубы и, несмотря ни на что, каждый на своем месте делай свое дело. Каждый при своем табуне.

При этом впервые в жизни странное чувство раздвоенности испытывал Будулай: как будто с того дня, как уехал он с конезавода, потерял он право и на то, чтобы слушать все эти слова. Но и не сказал ли ему тот же Стрепетов, чтобы все это время он чувствовал в отпуске себя, пока будет совершать свой путь по фронтовым картам. И не мог же Будулай теперь вдруг нанести удар своему другу, который, глядя на него своими далеко запрятанными под склоны бровей глазками, растроганно говорил:

— Вдвойне тебе завидую, Будулай, потому что ты там не только при своем деле, но и среди тех же самых людей, с которыми вместе войну прошел. Хотя, конечно, и мне тут не приходится жаловаться на свою жизнь. Другие и ропщут на свою судьбу и все чего-то ищут, а мне было бы грех. От добра добра не ищут. Как приехал после демобилизации на этот кордон, огляделся вокруг и сам же себе сказал: больше тебе нечего искать. Ты же помнишь, что я и на фронт прямо с выпускного вечера в лесном техникуме попал...

— Помню.

— Не хочу хвалиться, но всю эту сосну, которую ты видишь перед собой, уже я насадил. То есть, конечно, не я один, но весь этот лес по берегу Донца появился уже при мне. А ведь тут были одни сыпучие буруны, совсем как под Кизляром, откуда наш корпус свой путь начинал. А тебе тут нравится, Будулай?

— Нравится.

— И никакой другой жизни для себя я не хочу. Но... как бы тебе получить объяснить. Оказывается, может быть у тебя и любимая работа и такая подруга жизни, что сам удивляешься, за что тебе могло такое счастье привалить, а все же это еще не все счастье. Особенно, когда вдруг незаметно подкрадется день, когда из окна машины твоя первая и твоя единственная дочь на прощание сделает тебе рукой вот так...— И Ожогин снова, но уже не волнообразно, а как-то надломленно показал это своей рукой.— И когда после этого ты вернешься в свой дом, а он совсем пустой. Только вчера лопотали по всему дому ее ножки, что ни день, приносила она из леса то какого-нибудь зайчонка, то скворчонка, выпавшего из дупла, и елку ты своими руками убирал для нее каждый год. И больше уже в твоём доме никогда не будет елки.— Неожиданно он спросил Будулая: — А цыгане устраивают елки для своих детей?

Будулай покачал головой. Из давнего своего детства только и запомнил он, как, будучи однажды с матерью в каком-то городе, долго стоял перед большим окном, за которым что-то сияло и переливалось на все цвета сквозь затянутае морозом стекло. По словам матери, это и была русская елка. Но сколько он помнил, цыгане никогда не устраивали таких елок для своих детей, да и где бы они могли это сделать — не в декабрьской же степи среди шатров, обледенелых под лютой стужей? Но почему же, слушая теперь своего фронтового друга, с такой остротой представил себе Будулай, как это должно быть страшно, когда в том доме, где всегда устраивали елки, больше уже никогда не будет детских елок.

— Короче, мы с женой так и завяли в один прекрасный день, когда студент из лесного института, который тут у нас на кордоне свою преддипломную практику проходил, уезжая, вдруг взял и прихватил с собой на крыло нашу Олю. Из-за его плеча она только взмахнула на прощание.— В третий раз он повторил свое движение рукой.— И как будто не было ее совсем. Вот тогда-то, Будулай, впервые и понял я, до чего беззащитным может оказаться человек перед лицом неминуемой судьбы. И тогда хоть кричи, хоть стены грызи. А разве мы сами не такими были? Разве оглядывались на родителей тех, кого спешили зацепить своим крылом? — И, не дождавшись от Будулая ответа на свой вопрос, сказал: — Вот тебе и любимая работа, и жена, с которой прожил больше двух десятков лет, ну

и все остальное, что обычно называют семейным счастьем. Мне-то еще ничего, у меня есть мой лес, посадки и порубки, лоси и фазаны, пожары и браконьеры. Как с зари завеюсь, так и возвращаюсь уже к ночи, а каково потом было моей жене по целым дням одной в доме Олины игрушки перебирать, платяица и тетрадки. Ничего другого не оставалось, как потихоньку одну за другой уносить их к себе в мезонин и прятать в этом диване.—Он показал рукой.—Но и на самого, бывало, когда останешься со своими воспоминаниями наедине, такое нападет, что хоть своим воем волков из леса вызывай. Ты, Будулай, там, на конезаводе, все время среди людей, и тебе, должно быть, неизвестно, что это за штука—тоска одиночества. И еще неизвестно, задержались бы мы после этого с женой на этом кордоне, если бы ровно через год.. Но сейчас ты и сам поймешь.

И, склоняя голову, он опять прислушался к тому гулу, который давно уже улавливал и слух Будулая. При этом улыбка опять забрезжила под усами на широком, почти квадратном, лице его фронтового друга, которое с первого взгляда могло бы показаться и угрюмым. Нет, это не катали что-то под полом мезонина, а скорее всего действительно бегал какой-то лесной зверек. Ничего удивительного не было бы, если бы в этом доме на кордоне и жил среди людей кто-нибудь из четвероногих обитателей леса. Из тех, что или отбивались от своих маток, или же лишались их после выстрелов браконьеров, и лесник приносил их на руках в дом, чтобы отогреть и откормить до поры, когда их опять можно было отпустить в лесную чащу.

И что же это за неутомимый молодой зверь может быть, если он, ни на секунду не останавливаясь, так и мотается по всем коридорам и комнатам дома? Так, что и дробный топот его лап сливается в этот сплошной гул. Ожогин с таинственным видом приложил к губам палец.

—Еще немного подождем.—Улыбка, раздвинувшая его губы, опять блеснула озерцом со дна дремучего оврага.—Ах, обезьяна, уже и по лестницам начинает шастать.—Но и после этих слов Будулай еще трудно было что-нибудь понять до конца, а под усами его друга продолжала блуждать эта таинственная улыбка. Оставалось ждать развития событий. Сперва какой-то шорох послышался в самом низу лестницы, поднимающейся в мезонин, потом под чьими-то мягкими, но упругими толчками стали поскрипывать ступеньки. Можно было догадаться, что не легкий оказался для какого-то четвероногого существа этот подъем, потому, что чем громче раздавался скрип перебираемых его лапами ступенек, тем громче оно пыхтело. Будулай увидел, что улыбка на лице его друга сменилась тревогой.—Так недолго и спину сломать.—Вставая со стула, он сделал шаг к двери, но тут же и махнул рукой.—Там всего

одиннадцать ступенек. Когда-то и привыкать надо.— И все-таки до конца он так и не смог выдержать свою роль. Когда пыхтение уже вплотную приблизилось к двери-ляде и что-то снаружи как будто коготками поскреблось об нее, он нагнулся и, раскидывая створки ляды на две стороны, торжественно объявил:

— Ну, а теперь пожалуйста, принцесса.

Из отверстия ляды сперва появилась круглая, как кочан, русая головка совсем крохотной девчушки, а потом покраснело и ее платьице. Так вот, оказывается, кто все время неумоимо бежал внизу взад и вперед по дому и теперь отважился добраться сюда по крутым ступенькам. Ну и чем же не зверек, если у этой девчушки в красном платьице, которой было от роду не больше двух лет, оказались такие коготки, что она, цепляясь ими за ступеньки, все-таки сумела одолеть на четвереньках этот непростой для нее подъем. И, еще не встав на ножонки, поднимая голову и бесстрашно взглядывая снизу вверх на деда своими глазенками, будто подкрашенными изнутри густой синькой, оповестила:

— Дедуся, Лена пришла.

— Ну и кто же это ей позволил? — строго спросил у нее дед.

— Я сама.— И, вставая с четверенок, обнимая ногу деда, она вкрадчиво попросила:— Не нужно, дедуся, Лену ругать.

Тут ее взгляд зацепился за бороду Будулая, и испуг, вспыхнувший у нее в глазах, сделал их еще более синими. Она крепче прижалась к ноге деда. Тот поспешил положить свою руку на ее ярко-желтую, как спелый подсолнух, головенку.

— Это, Лена, хороший дядя.

Еще минуту она пытливо изучала бороду Будулая и потом, решительно согласившись со своим дедом: «Это хороший дядя»,— оторвалась от его ноги, чтобы тут же и вступить во владение всеми теми богатствами, которые таила для нее эта зеленая комната. Сразу можно было увидеть, что власть ее здесь безгранична и ей не надо подсказывать, как распорядиться всеми этими пеньками, обрубками и чучелами, которыми между книгами были заставлены все полки в комнате деда. Тут же она и начала распоряжаться ими, по-хозяйски двигая и перетасовывая их, явно озабоченная поисками чего-то такого, что, несомненно, в данный момент интересовало ее больше всего на свете. Ее обдавало пылью, вспорхнувшей с потревоженных полок, и она то и дело чихала. Все это время дед неотрывно наблюдал за ней такими же сине вспыхнувшими глазами.

Но вот она, кажется, нашла то, что ей нужно было. Из-за чучел и снопов сухих лесных трав она извлекла большую плоскую коробку и, победоносно взглянув на своего деда еще больше просиявшим синим взглядом, тут же уселась посреди комнаты на цветную дерюжку. Раскрывая перед собой коробку, она

засмеялась журчащим смехом при виде того сокровища, которое открылось ее взору: многоцветной россыпи маленьких и больших жуков, которых, по ее убеждению, только для нее и мог собирать в лесу ее дед. И, судя по всему, он совсем не намеревался разуверять ее в этом, наблюдая за тем, как она, высыпав на половичок жучков, играет и любитесь ими.

— Но это, Будулай, ты теперь ее видишь такой,— сказал Ожогин,— а посмотрел бы, какая она была, когда непутевые мать с отцом только привезли ее к нам. Еще вся красная и такая худенькая, что, когда мне на вокзале в Шахтах дали ее поддержать, страшно стало. Звереныш. И наша Оля, еще сама дитя, совсем не знает, что с ней делать. Еще к тому же и молоко у нее пропало, вся черная стала, из стороны в сторону шибает. А когда этот залетный гусь увозил ее от нас — как лесное яблоко была. Ну, какая же после всего этого из нее могла быть счастливая мать? Мы с женой только переглянулись друг с другом, и жена тут же за нас обоих заявляет им: «Вам надо пока доучиваться и вообще на ноги стать, а она будет с нами жить». Вот так с тех пор и живем тут, на лесном кордоне, опять втроем...

Краснело посредине комнаты пятно платица на ковре-половике. Лесное солнце, пробиваясь сквозь лиственный зыбь, подкрашивало круглую, как кочан, головенку зеленцой. Лишь изредка, вспомнив о Будулае, девчушка подползала к своему деду, чтобы удостовериться:

— Это хороший дядя, да?

— Конечно, Лена, хороший. Это у него только борода страшная,— приласкав ее русую головенку своей большой рукой, отвечал дед.

И, успокоенная, она опять отползала к своим жукам.

— Но и не такое это простое дело, Будулай, с ребенком в глухом лесу. Конечно, основные заботы легли на плечи Маруси, моей жены, ей надо и кашку сварить, и пеленки постирать, и, кроме как в бабушкиной постели, эта принцесса, видите ли, не согласна спать... Но и у меня уже свой круг обязанностей есть. У нас с женой разделение труда. Я должен вовремя ногти и волосы подстричь, занозу вытащить, а если надо, то и клизму поставить. Не знаю, откуда только у меня все эти способности взялись, но все это считается моим делом. И отношусь я к нему вполне серьезно. И ничего мне не надо, как знать, что она и поела и управилась кое с чем хорошо, а если еще подойдет и, заглядывая снизу вверх своими синими глазенками, скажет: «Дедуся», — то ты уже больше чем Герой Советского Союза. Женится я не как-нибудь, а по довоенной еще любви, и работа, как я уже сказал, у меня любимая, но только теперь, когда она вот так прижмется к коленке и скажет: «Дедуся», — я могу сказать, что это лучшие минуты моей жизни. Тут я одну французскую

пословицу вычитал: «Первый ребенок — последняя кукла. Первый внук — первый ребенок». Так и есть. И все бы теперь, Будулай, было хорошо, если б в этом не было еще и другой стороны, — внезапно заключил Ожогин. — Но в этом ты, может быть, меня и не поймешь и знаешь почему?

Будулай, не отвечая, смотрел на него.

— У вас, цыган, все проще. Должно быть, и к своим детям вы не так привязываетесь, не говоря уже о внуках, все потому же, почему и к одному месту не можете привязаться никак. А я теперь уже больше всего боюсь, как бы отец с матерью в один прекрасный день не приехали за ней и не увезли с собой. Так ведь оно когда-нибудь и должно быть. Поживут немного по своей молодости ради самих себя и о своей дочушке вспомнят. А ее к тому времени тоже может к своим молодым родителям потянуть, не век же ей при дедах жить. И тогда неизбежно наступит тот день, когда эти топотушки перестанут по дому лопотать. Сколько ни прислушивайся, не слышно будет их. Опять станет пусто в доме. — Он взглянул на внучку, которая, ни о чем не подозревая, играла лесными жуками у его ног, и вдруг зажмурился так, будто солнце ударило ему в глаза. Когда он снова открыл их, взгляд у него оказался совсем померкшим. — Но до этого пусть меня лучше на бугор отвезут. — Отвечая на вопрос в глазах у Будулая, он пояснил: — Так у нас тут эту самую конечную остановку зовут. Конечно же, глупо так говорить, но это уже не зависит от меня.

Он мимолетно дотронулся ладонью до своей груди, и Будулая явственно почудилось, как там, под ладонью, что-то хлопнуло у него. И вдруг у самого Будулая что-то заняло в том же самом месте. Вставая, он молча протянул Ожогину руку.

Тот страшно удивился:

— Что это ты заспешил?

— Нужно мне ехать, — сказал Будулай.

Ожогин искренне опечалился.

— Ты же собирался заночевать у меня.

— Нет, мне пора, — твердо сказал Будулай.

Нет, он совсем не намеревался кого-нибудь обманывать: ни Ваню, когда говорил ему в кузнице, что накатывался уже на всю свою жизнь, ни генерала Стрепетова, начальника конезавода, но почему же, чем дальше втягивался в дорогу, тем все привычнее его уху эта неумолчная песня степного ветра и тем ярче разгораются тлеющие на самом дне памяти угли из-под праха и времени, сдуваемого этим ветром.

Не помнил он и того, чтобы когда-нибудь раньше так беспокоили его сны. Разве что в самом раннем детстве, когда, внезапно пробудившись от сновидения на ворохе тряпья, как от

толчка, всегда можно было увидеть, как трепещут между ушами лошадей звезды, а иногда по дороге прямо навстречу катилась луна и, разрастаясь, всплывала под полог кибитки, все заполняя собой. Окончательно проснувшись, он кричал: «Мама!» — судорожно нащупывая подле себя ее руку. Сонным голосом успокаивая его, мать давала ему руку, и он, уцепившись за нее, опять засыпал под мягкий гул колес и под все одну и ту же песню, с которой никогда не расставался его правивший лошадьми отец.

А вот теперь его стали одолевать и такие сны, что, пробудившись под скирдой или под лесополосой от ударов собственного сердца, он долго не мог ощутить и себя и время своей жизни. Где он и когда мог очутиться там, где очутился, и то ли это розовое молоко молодой лунной ночи сочится сквозь истлевшее под дождем и ветром рядом шатра, которое матери уже не под силу было заштопать своей толстой цыганской иглой, то ли это со всех сторон уже занялись от немецких зажигалок камыши Кугейского лимана под Азовом, а он лежит в разведке и под ним подгаивает лед, к которому он прижимается грудью. А как-то вдруг пробудился он от мгновенного испуга, что земля, с непостижимой скоростью мчавшаяся до этого в пустоте, внезапно остановилась, намертво затормозив, и он лежал, обхватив ее руками, на какой-то полуосвещенной сумеречным светом закругленной равнине совсем один. Не было больше никого.

Вот когда впору было пожалеть, что, разуверившись еще в самой ранней молодости во всяких предсказаниях, которыми обычно угощали цыганские гадалки доверчивых людей, не верил он теперь и в сбыточность сновидений. Мало ли какое наваждение может нахлынуть на человека, когда ему неподвластен его собственный разум! Но почему же тогда с таким упорством повторяется все один и тот же сон: будто он конь, а Клавдия и Настя попеременно пасут его? И каждый вечер, собираясь на ночлег, он ждет продолжения сна и потом, в дороге, ловит себя на том, что размышляет и тревожится по поводу увиденного во сне, как если бы увидел все это наяву и попытается сам у себя, что бы это могло значить. Так недолго и до беды в дороге, когда такое движение. Так и спует взад и вперед, встречаясь с ним и сбгоняя его, всевозможный транспорт...

Вот бабка его, чтобы справиться с подобным наваждением, ни на минуту не задумалась бы, как ей поступить. Она взяла бы и выдернула из конского хвоста волос, обмотала его вокруг пальца и ровно в полночь бросила в огонь ягори, прошептав при этом соответствующую молитву.

Но и у коня того, на котором теперь едет Будулай, ни единого волоса не выдрать, и все цыганские молитвы он давно позабыл, да и, посмеиваясь, заключил он, пожалуй, уже поздно

ему было бы возвращаться в тот мир сказок и гаданий, из которого он давно уже бежал, от которого отлучила его жизнь. Все, что когда-то так манило его и так пленяло его доверчивую детскую душу, уже давно утратило для него свою прелесть. Никакого от жизни обмана он уже не хотел. Никакого обмана не надо, это все для слабых душой, которые утешают себя надеждами на то, что никогда не сбывается и не может сбыться.

Не только кому-нибудь другому, но и ему самому уже впопру было спросить у себя: «Так что же это в конце концов с тобой происходит, Будулай, и кто ты такой? Если ты уж не кочевой, а вполне сознательный и на все сто процентов советский цыган, то каким же это ветром все время подхватывает тебя и опять ты мчишься на своем мотоцикле по осенней степи? Конечно, это уже не цыганский конь и не копыта выцокивают по затвердевшему грунту дороги какую-то древнюю песню, навеваящую сон, но все равно ведь под тобой седло и, как там ни объясняй, а это все та же дорога с шорохом наматывается на колесо и все та же убегает по сторонам степь с ее обгаренными осенью лесополосами. И как же в конце концов вышло, что ты теперь спешишь промчаться мимо своих соплеменников, ни на секунду не задерживаясь, боясь, что они могут спросить у тебя: «А не ты ли громче всех агитировал нас, чтобы мы, темные ромы, раз и навсегда бросили бродяжничать и сели на землю, как все другие люди, и при этом бренчал перед нами, особенно перед цыганками, своими боевыми орденами, надеясь ослепить их, растопить их сердца, а через них добраться и до сердец цыган? И что же после всего этого нам, темным ромам, думать о тебе, передовой ромы Будулай, если ты теперь самый кочующий из всех нас цыган? Вон как рвет и рвет голубое полотно воздуха твой бензиновый зверь, и, пока мы доскрипим на своих телегах от одного шлагбаума до другого, ты уже целую сотню их оставишь позади. А твои ордена при этом позвенькивают на ухабах дороги, наглухо запертые на замок в дорожном сундучке, притороченном к раме мотоцикла».

А что если и в самом деле правду сказала Настя и это он едет не куда-нибудь, а просто бежит от самого себя?

*

— Ох, мой Громушка-Гром, научи меня, как мне дальше быть? Мои же родные детушки все шибче шатают меня, как ветер вербу, и какая-то я бываю совсем не своя. Месяц за месяцем, Гром, как на крыльях, все летят и летят куда-то назад, и теперь мне вдруг иногда начинает казаться, что я твоего бывшего хозяина, этого несчастного цыгана Будулая, никогда не видела в лицо, а придумала его себе или же приснился он мне

когда-то уже очень давно. А сейчас-то он мне и нужен больше всего. Пусть и не он сам и даже не письмо от него, а хоть бы какая-нибудь самая маленькая весточка, чтобы я только знала, что он живой и здоровый.

Нет, Гром не оставался равнодушным к ее словам. Собрав своими шершавыми и влажными губами с ладони Клавдии крошки сахара, он не отпускал ее руку и не отходил от нее. Он все, конечно, понимал, а если не так, то откуда эти протяжные вздохи и это не сильное, но требовательное постукивание ногой по земле, будто он настаивал перед кем-то: «Ну скорей же...»

Земля отвечала ему порожним звоном.

*

С подножки самосвала прыгнула на ранней заре перед хутором смуглая молодая женщина в летнем платье, засеянном красным горошком по белому полю, и пошла наискось от дороги к кукурузному массиву, желтеющему сквозь просвет в лесополосе. Из шоферской кабинки вдогонку высунулся пшеничный чуб, вспыхивая под октябрьским солнцем, и суровый голос одернул ее:

— Тебе, Настя, пора уже привыкать полегче скакать.

Не оглядываясь, она только отмахнулась белой плетеной сумочкой в смуглой руке, и тот же голос, но уже примирительно предложил ей:

— А то давай я тебя прямо в хутор доставлю.

Но и на этот раз она не оглянулась, только чуть полуоборачивая голову, с досадой мотнула ею:

— Нет, я же сказала, что сразу туда не пойду. Мне еще надо тут побыть.

Сдвинувшийся с места самосвал, съезжая на обочину, догнал ее, и чуб свесился из дверцы, приоткрытой с обратной стороны.

— Ну, тогда я на обратном пути за тобой спущусь.

Только после этого она, не останавливаясь, подняла голову, заглядывая под этот пшеничный чуб своими сердитыми черными глазами.

— Незачем. На этом же месте я тебя и буду ждать.

Михаилу Солдатову нужно было спешить на товарную станцию Артем за срочным грузом для конезавода, и поэтому у него не было лишнего времени для разговора с женой на развилке дорог.

— Ну, как знаешь.

Его чуб спрятался в кабину, дверца обиженно захлопнулась. Самосвал зрел, стороной объезжая Настю.

Ни единой души не было в этот сверххранний час перед хутором в степи, за исключением какой-то старухи, промыш-

лявшей с мешком на кукурузном поле, которая, завидев Настю, тут же и шмыгнула в изжелта-зеленую чашу... Из неоднократно перечитанного письма Клавдии, которое Михаил так и вернул Насте, нигде не наткнувшись во время своих поездок на Будулая, знала она, что могилу своей сестры Гали ей теперь надо было искать не здесь, на горе, а в хуторе. И даже малейшего признака, где раньше могла быть эта могила, теперь не обнаружил ее взор. Все было перепахано вокруг, оставлен был из расположенного под горой хутора лишь узкий прогон для скота в степь, истолченный копытами и сплошь унавоженный коровыми лепешками вперемешку с яблоками конского помета. Уже с самого раннего утра воробьи деловито выклевывали из него овсяные зерна. И после того, как эта старуха с мешком наломанных ею початков при приближении Нasti поспешила спрятаться от нее в кукурузе, никого больше пока не было видно вокруг в этот час, чтобы расспросить... Видно, еще зоревали в хуторе под горой.

В том месте кукурузного поля, куда нырнула старуха, слегка шевелилась сухая листва, и Настя, по грудь забредая в золотистую чашу, окликнула:

— Бабушка, вы меня не бойтесь, я не местная.

Лезвия кукурузы там, где затаилась старуха, зашевелились быстрее, и голова, закутанная серым пуховым платком, как куль, показалась было из них, но тут же и схоронилась обратно.

— Мне только спросить у вас надо.

Теперь серый куль, раздвигая кукурузные будылья, выглянул из них больше и не старческой зоркости глаза настороженно блеснули на Настю из-под надвинутого на самые брови платка. Настя подошла ближе. Дородная старуха стояла среди низкорослых будыльев на коленях, заслоняя собой мешок с початками.

— Мне, бабушка, надо узнать, где тут наехал на цыганскую кибитку...

Договорить Настя не успела. Старуха метнулась от нее в сторону с проклятием испуганной ящерицы и, вставая с коленей, рысью побежала в глубь кукурузного массива, волоча за собой по земле мешок с початками.

— Куда же вы, бабушка?! — в недоумении крикнула ей вдогонку Настя.

Но старуха, даже не оглянувшись, вдруг легко вскинула себе на загорбок большой мешок и побежала от нее прочь, хрустя будыльями, оставляя за собой по кукурузе извилистый след. Неопишуемая злость ударила в голову Нasti.

— Ах ты, старая воровка! — устрашающе закричала она вслед старухе. — Вот я сейчас тебя догоню и прямо в мили-

цию сдам. Шибче беги, а то я сейчас же догоню! — И, развеселившись, засунув пальцы в рот, Настя протяжно свистнула по-мужски. — Улюлю, догоню! — грозила она и топала ногами.

Куда там догнать было. За бедной старухой едва успевали смыкаться будылья. Но свой мешок она не бросала и оттого казалось, что два шара катятся по кукурузному полю: маленький и большой. Закутанная в теплый пуховый платок голова старухи и ее туго набитый початками мешок.

Всплывающее из-под горы, из-за Дона солнце еще только начинало шарить своими первыми лучами по степи, подкрашивая и листья кукурузы, перестаивающей на корню свой срок. Разлученная в самом раннем возрасте со своей старшей сестрой и с отцом, Настя почти не удержала их в своей памяти и, должно быть, поэтому, жалея о них, все-таки как-то вчуже, отстраненно представляла себе, какой смертью им довелось умереть на этом кукурузном поле. Тем более, что и Будулай рассказывал Насте об этом совсем кратко. Теперь же, окидывая медленным взглядом предугрENNую степь, она вдруг впервые воочию представила себе, как все это должно было происходить. Как безуспешно пытались уйти на своей жалкой цыганской кибитке ее сестра Галя и ее престарелый отец от танка и как по-страшному умирали они, настигнутые его гусеницами на этом кукурузном поле. Леденящий ужас, объявший Настю, сплелся в ее сердце с доселе не испытанной мучительной скорбью. На какое-то мгновение вдруг даже почудилось ей, что это не утренней степной зарей окрашены острые лезвия кукурузы, иссушенной и приклоненной к земле астраханской черной бурей. И, объятая почти суеверным страхом, Настя бегом бросилась в ту сторону, где лежал под горой хутор.

Уже на половине спуска из степи в хутор она услышала впереди себя дробную россыпь множества копыт. Из-за нависающей над дорогой глиняной кручи прямо на нее вдруг надвинулся конский табун, и не успела она посторониться, как длинная теплая морда уткнулась ей в плечо и задышала над самым ухом, щекоча ей своим дыханием шею. Инстинктивно отшатываясь, Настя хотела отступить с дороги, но эта глазастая атласная морда настойчиво последовала за ней, толкая ее в плечо. И, поднимая глаза, Настя с радостным испугом ахнула:

— Гром?!

Замыкавший табун верхом на лошади старик в фуражке с казачьим околышем испуганно закричал, угрожающе щелкнув над головой длинным кнутом:

— Гром! Ах ты, цыганское отродье! — И он издали предупредил Настю: — Ты, гражданочка, не бойся его, а только на месте стой

— А я и не боюсь,— улыбаясь сквозь затуманившую ей глаза пленку, радостно говорила Настя. Знакомая, с длинными чуткими ушами морда расплывалась перед ее глазами, и она видела только желтое пятно.— Так это ты, мой Гром?! Ну, здравствуй!

— Это ! него такая дурная привычка к женщинам приставать, и он вас, должно быть, за другую женщину признал,— подъезжая, объяснил Насте табунщик. И вдруг подозрительно осведомился у нее: — А тебе откуда может быть известно, как его кличут?

— Вы сами, дедушка, только что так называли его,— ответила Настя, лаская Грома, который настойчиво искал мягкими влажными губами у нее на ладони то, что привык всегда находить, и, не найдя, обиженно, шумно вздыхал.— Ничего. Гром, у меня для тебя нет,— виновато говорила Настя.— Если бы я могла знать, я бы, конечно, припасла для тебя, но откуда бы я могла знать.— И в доказательство она привычно вывернула перед ним карманы своей вязаной кофты, надетой сверх платья, как всегда это делала, когда приезжала, бывало, на отделение к Будулаю и, скормив Грому припасенный для него сахар, позволяла потом ему производить у нее обыск, пока он не убеждался, что у нее и в самом деле ничего не осталось.

-- Ни единой, Гром, крошечки.

Хмуро наблюдавший за всем этим со своего высокого казачьего седла табунщик возмущился:

— Ах ты, бабий прихвостень, мало тебе попрошайничать по всему нашему колхозу! Я тебе покажу, как у чужих людей на дороге ревизию делать.

И, подъехав вплотную, он раскружил над головой свой длинный кнут. Но Настя поспешила встать между его лошадей и Громом так, что табунщик в последний момент едва успел пронести кнут чуть выше ее головы.

— Это же я, дедушка, виновата.— И она сама шлепнула Грома ладонью по боку — Беги, Гром, беги. А то из-за тебя и мне еще от твоего нового хозяина может достаться.— Недоумевая Гром топтался возле нее, обдавая ее своим влажным теплом, и Насте пришлось повторить, с силой отпихивая его от себя: — Ну, беги же скорей!

Только после этого он обиженно отошел от нее и, оглянувшись еще раз, выкатывая яблоко глаза, рысцой потрусил догонять табун, поднимавшийся из хутора в гору.

— А ты к кому же в наш хутор? — внимательно оглядывая Настю с головы до ног, спросил у нее табунщик.— К родственникам или в гости?

— К родственникам,— ответила Настя.

Приглядываясь к ней, табунщик усомнился:

— У нас в хуторе вроде цыганей нет. Один завелся было на развод, и того в одночасье как ветром сдуло.

Настя весело возразила ему:

— Это вы просто, дедушка, не знаете. Есть в вашем хуторе и цыгане.

Старый табунщик не на шутку обиделся, и даже небольшие седые усы у него приподнялись над желтыми зубами.

— Как это я могу не знать, если я тут от самого пупка живу.— Вдруг его осенила догадка: — Так это же у тебя, должно быть, какой-ся из военных. Их у нас сейчас понапихано полных хутор.

— Из военных, дедушка, из военных,— с готовностью подхватила Настя, обрадованная тем, что, оказалось, солгала она этому табунщику только наполовину. Из того же прочитанного ею письма этой женщины к Будулаю знала она, что его сын Ваня пошел учиться по военной части, а ведь она, Настя, как-никак была ему не чужой.

— Ну тогда другое дело,— сказал табунщик.

Так он ей и поверил. Медленно поворачиваясь в седле всем корпусом, он провожал Настю взглядом, пока она не скрылась за поворотом дороги, огибающей нависшую над хутором глиняную кручу. Ни единому слову этой молодой цыганки он, конечно, не поверил. Пусть она поищет простачков где-нибудь в другом месте, а он, слава богу, уже седьмой десяток разменял. Если судить по одежде и вообще по наружному виду, эта молодая цыганочка вполне может за какую-нибудь образованную врачиху или же за агрономшу сойти, но это еще ничего не значит. А ее драгоценные родичи последнее время что-то опять стали по степям шуровать, колхозных лошадей щупать. И очень может быть, что вот таких молодых да красивых цыганок они как раз и высылают впереди себя на разведку, чтобы те заранее прицелились, где что лежит и где кони стоят. Не миновать, пожалуй на эти две-три ночи переселиться от старухи в каморку при конюшне да и ей приказать, чтобы на ночь не бросала незамкнутыми курей. На теперешних колхозных сторожей, особенно после того, как у каждого в погребе уже отыграло свое вино, надежда плохая. И от председателя надо завтра же потребовать, чтобы натянули наконец хотя бы какую-нибудь железную сетку вокруг конского двора, сколько же еще можно напоминать. От вора, понятно, не может быть запора, но все же. С цыганами шутки плохие. Раз им опять приспичило кочевать, то надо же им свой транспорт иметь.

И, окидывая обеспокоенным взглядом поднимающийся в гору табун, он невольно поискал среди лошадей Грома. Нет, Гром, как всегда, шел на своем месте, впереди табуна.

Во всяком случае, стоит ему там в степи, на вольном воздухе, пока лошади будут на последней молодой отаве пастись, все это как следует обдумать. Ничего хорошего эта встреча с молодой красивой цыганкой, разнаряженной как какая-нибудь городская краля, не могла предвещать.

Уже на окраине хутора, перед птичником, встретились Насте две женщины в белых халатах. Та из них, что была постарше, внимательно взглянула на нее и даже посмотрела вслед, провожая глазами. Но все это Настя лишь косвенным зрением отметила про себя и тут же забыла об этом, потому что она уже увидела большую братскую могилу в проеме улицы, которая, разрезая хутор надвое, выходила к Дону.

Как и над многими другими такими могилами, которые Насте до этого приходилось видеть в других местах, над этой бронзовый солдат тоже, преклонив колено, приспускал к земле тяжелое знамя. Но то ли потому, что на приспущенном крыле этого бронзового знамени еще оставался отблеск задонской зари, то ли потому, что из-за плеча солдата почти такими же складками переливался потревоженный утренним ветром Дон, сердце у Насти вдруг затосковало так, как никогда еще в жизни.

*

Откочевали последние тракторы из осенней степи. Черно зияла развороченная ими земля. Грачи выбирали червей из хлodeющих борозд свежей зяби.

Невесело в это время на дороге, рассекающей почти совсем безмолвную и безлюдную степь. А этим старым военным картам все еще не видно конца. И то и дело выплывающих впереди из-под траурной пыльной кромки могил твоих товарищей уже нанизалось на дорогу столько, что ты уже как будто несешь их на своем плече и все ниже клонит тебя к земле этот груз. Но и остановиться нельзя. И все больше растет твоя перед ними вина, что не ты, а они остались лежать под тяжелыми плитами и под совсем малоприметными бугорками земли в стылой степи. Хотя ты перед ними и не виновен ни в чем.

Все так же о чем-то шепчется с дорогой колесо мотоцикла, поскрипывает седло, и сбоку, чуть наискось, неотступно скользит по-беркутиному сгорбленная тень.

Вот так недолго и пропустить тот момент, когда вдруг прямо поперек твоего пути вырастет будто из-под земли человек, и едва успеть надавить на тормоз, когда он что-то закричит и нелепо, суматошно замашет перед тобой руками.

Сперва Будулай подумал, что это какой-нибудь дорожный ремонтер показывает ему объезд. Тем более, что нечто похожее

на красный лоскут трепыхнулось у него в руке. Должно быть, поставили на дороге предупредить, что впереди подломился мостик или же что-нибудь другое преградило путь. И только тогда убедился в своей ошибке Будулай, когда этот совсем маленького роста человек в картузе вдруг проворно вспрыгнул сзади него на багажник мотоцикла и обжег его ухо цыганской скороговоркой:

— Налево, ромá, сворачивай и спускайся прямо в овраг. Там уже все наши собрались.

Недоумевавший Будулай хотел было тут же нажать на тормоз и объяснить этому неожиданному провожатому, что произошло явная ошибка, он меньше всего рассчитывал теперь на встречу с какими-нибудь цыганами, но провожатый не дал ему открыть рта, тут же восторженно сообщив:

— И Тамила уже приехала на своей новой «Волге». Она, когда опаздывают, шибко не любит.

А тут и тормозить уже было поздно, потому что сразу же, налево от дороги, и начался спуск в тот самый овраг, о котором упомянул его неожиданный провожатый. Такой крутой, почти отлогий спуск, что и на тормоз было бы бесполезно нажимать. И такое зрелище сразу распахнулось перед взором Будулая на дне этого оврага, что он сразу же и забыл о своем провожатом. Впрочем, стоило Будулая лишь притормозить на дне оврага, как этот маленький цыганок тут же и спрыгнул из-за его спины с мотоцикла, куда-то бесследно исчез. Больше Будулай так и не видел его.

Весь этот большой и невидимый от дороги овраг, укрытый от взоров зелеными волнами шиповника, был заставлен повозками с цветными брезентовыми шатрами, похлопывающими под ветром, и без всяких шатров и бурлил людьми, одетыми так, что их нельзя было бы спутать ни с какими другими людьми: это были цыгане. Давно уже не приходилось видеть Будулая, чтобы сразу столько их собралось в одном месте. Десятки, а может быть, и сотни выпряженных из телег и стреноженных лошадей разбрелось по оврагу, поросшему по обе стороны ручья курчавой и еще зеленой травой. Но и мотоциклы стояли между этими цыганскими бричками и даже несколько «Москвичей» и «Побед» затесалось между ними. И этого оказалось достаточно, чтобы к чистому конскому запаху, к аромату травы и овражной сырости уже примешалась какая-то едкая горечь.

Теперь только начал догадываться Будулай, что он, кажется, на большой цыганский совет попал, подобный тому, какие ему приходилось видеть в детстве. Обычно тогда со всей окружающей степи съезжались цыгане в одно место, чтобы посоветоваться и решить, как им дальше жить: как получше приспособиться к обстоятельствам быстро меняющегося времени и успешнее

уходить от его законов. И помнилось Будулаю, как тогда его родители, собираясь на этот совет, и сами одевались во все наилучшее и детей своих, несмотря на нищету, одевали так, чтобы их не стыдно было показать своим близким и дальним родичам. Бывало, еще за месяц и за два месяца мать, шнырявшая по вокзалам, по базарам и дворам, начинала брать с людей в оплату за свое гадание не деньгами, а детскими платьицами, штанишками и обувкой и потом кроила и перешивала все это у костра перед шатром до поздней ночи. В то время как отец перековывал лошадей, выделывал шкуры, выкраивал и шил из них седла, уздечки и прочую сбрую. И откармливать своих лошадей он начинал чуть не за полгода до этого, купал и чистил их так, что шкура у них начинала лосниться, а гривы и хвосты хоть косами заплетай. Чем же еще и похвалиться было цыгану перед своими соплеменниками, если не лошадьми.

И, вероятно, какая-то важная теперь причина собрала всех этих цыган и цыганок в овраге, потому что никто ведь не отменял и тот строжайший указ, по которому с некоторых пор запрещалось им кочевать с места на место, раскидывать в степи свои полотняные таборы. Но к самому началу этого совета Будулай, судя по всему, уже опоздал. Он сразу же догадался об этом, как голько, мимолетно оглянувшись на его мотоцикл, сердито прицкинули на него самые крайние из толпы цыган, сбившихся вокруг одного места посредине оврага. Как догадался и по всеобщему молчанию, сохраняемому этими цыганами и цыганками, когорых в иное время никакая причина не смогла бы заставить соблюдать такую тишину.

При этом лишь одному-единственному голосу и позволено было безнаказанно нарушать ее в овраге, хотя это был и не мужской голос. Между тем в памяти Будулая сохранилось, что по всем обычаям в подобных случаях им мог быть только мужской голос. И не какой-нибудь молодой, только набирающий силу, а безоговорочно властный и привычный к тому, чтобы говорил он один, в то время как все другие цыгане слушали его молча. Потому что и старейшиной у большого ягори мог быть только самый старый цыган. Не говоря уже о том, что цыганкам не позволялось присутствовать на этом совете и они могли лишь издали прислушиваться к доносившимся до них оттуда словам и украдкой выглядывать из-под шатров на то, как мечутся языки пламени над большим костром, выхватывая из нечной мглы суровые лица их мужей, отцов и дедов.

Так, значит, неумолимое время внесло свои изменения и в этот железный обычай, потому что тот единственный голос, который слышал Будулай, был, несомненно, женский. Серебристая «Волга» с распахнутыми на две стороны дверцами, должно быть, та самая, о которой сообщил Будулаю его прово-

жатый, стояла посреди оврага в тесном окружении толпы цыган и цыганок, а возле нее стояла тоже цыганка. Но только совсем не такая, как все остальные. Не с темнокожим или медно-красным, прежде времени состарившимся лицом, а с не тронутым ни степным солнцем, ни ветром розово-белым, лишь слегка притененным дымчатыми круглыми очками. И одетая не так, как все другие цыганки в овраге: не в широчайшую думалы и добрую дюжину столь же просторных индырак, под которыми при необходимости можно было укрыть от постороннего глаза и всю дневную выручку, добытую с помощью колоды карт и всеми иными путями, а в городской модный костюм белого цвета. И так же, как у всех цветущих молодых женщин, живущих в городе в достатке, круглые, белые коленки сверкали из-под подола ее короткой юбки, в то время как все эти цыганки, обступившие ее, мели подолами своих юбок землю.

Несомненно, это и была та самая Тамилла, о которой Будулай впервые услышал от своего неожиданного провожатого. И это ей, женщине, одной не возбранялось теперь говорить перед всеми другими цыганами у большого ягори в то время, как они должны были только слушать то, что говорила она, поставив ногу в модной туфельке на буфер своей «Волги».

Тем не менее они, не перебивая, слушали то, что она говорила им. Несмотря даже на то, что говорила она почему-то не по-цыгански, а по-русски

— Вы меня уже, слава богу, знаете не первый год,— говорила она,— и уже должны знать, что я всегда стараюсь не только для своей, но и для вашей же пользы.

Как видно, приехала сюда эта Тамилла на своей «Волге» не одна. Два смуглых, спортивного вида молодца с пушистыми смуглыми усами стояли по правую и по левую руку от нее в одинаковых черно-кожаных куртках, наглухо, до горла, застегнутых на «змейки», как два ангела-хранителя, и, поворачивая из стороны в сторону головы, бдительно рыскали глазами по оврагу

И, судя по всему, эта городская цыганка умела заставить себя послушать. Что-то даже похожее на жалость к своим соплеменникам шевельнулось в груди у Будулая, когда он, окидывая скольльзящим взглядом с седла своего мотоцикла толпу цыган, увидел, как они, запрокинув головы, ловили каждое ее слово. Чье-то мужское лицо с приоткрывшимся под ржыми усами ртом на мгновение показалось взору Будулая смутно знакомым, а неподалеку зацепился он взглядом за клюку какой-то старой цыганки, надетую ею на плечо, но тут же, не задерживаясь, и скользнул дальше, к Тамилле, чтобы ничего не пропустить из того, что она говорила цыганам.

— Разве это тогда не я говорила вам, что не на буравчиках лучше всего можно заработать и не на краденых колхозных лошадях, которых надо было хорошо кормить, чтобы потом сдать на колбасу в «Заготскот», а на узких мужских галстуках и на золотых дамских поясах, пока кооперация еще не догадалась завезти их в деревню из больших городов, а у молодых русских дурочек и дурачков еще не прошла на них мода. Но теперь и они уже вышли из моды.

В ответ на ее поощрительно выжидающую улыбку над оврагом всплеснулся рой выкриков:

— Теперь этих галстуков и поясов в каждом сельпо навалом!

— То совсем не было, а то на три года завезли!

— С одним пояском надо по целому дню по степи шнырять!

— Хоть уздечки из них шей!

-- Молодые давно по полдюжины набрали, а какие постарше казачки, привыкли каждую лишнюю копейку на книжки класть

Вот теперь Будулай, кажется, понял, какая причина могла собрать вместе сразу столько цыган в этом овраге, укрытом зелеными волнами шиповника от чужих взоров. И та, которая создала их на этот совет, сейчас со снисходительной улыбкой слушала их возбужденный гомон, терпеливо ожидая, когда они выплеснутся до конца. Когда же они наконец то ли выплеснулись, то ли замолчали, обезоруженные ее улыбкой, она, улыбувшись им еще дружелюбнее, сказала:

— Вот я и приехала посоветоваться с вами, с каким новым товаром нам теперь лучше будет по станицам и хуторам этих скупых казачек подоить, чтобы и у вас, цыгане, всегда свободная копейка была, и для того, чтобы вы могли одеть-накормить ваших детишек.

Если она рассчитывала на встречное сочувствие к ее словам той части цыганской толпы, которую еще не подхватило первой волной криков, то не ошиблась. Первыми, как по команде, оценили ее остроумие ее адъютанты, обнажая из-под стрелочек своих усов ослепительно белые зубы, а вслед за этим и по всей толпе, обступившей «Волгу», прокатился гул мужских голосов:

— К ним хоть с какого бока заходи.

— Их можно подоить.

— Казачки, они здоровые.

— После войны они опять выкормились на колхозных хлебах.

Но тут вдруг как будто щелкнул над оврагом большой цыганский кнут или упал с безоблачного неба раскат грома:

— А на какие же тогда деньги эти казачки смогут накормить и одеть своих детей?

Ни на секунду не задержав своего внимания на этих словах, Тамилла небрежно ответила:

— Это уже не наша печаль. Каждому своя рубашка ближе. Пусть они о своих детях думают, а мы должны думать, чтобы цыганским детям было лучше.

Но ее адъютанты при этом единственном голосе, осмелившемся прервать ее, явно забеспокоились, забегали по-рысьи глазами по оврагу, обшаривая толпу, а кисточки их усов зашевелились, как усики радиоантенн, настраиваясь на ту волну, откуда мог раздаться этот голос.

— Не все то лучше, что лучше.

И тут Будулай увидел, как знакомая клюка высунулась в его сторону из цыганской толпы.

— Вот это верно.

Что-то как будто лязгнуло за ушами у Тамиллы.

— Здесь есть чужой.

Тотчас же ее адъютанты так и напряглись. Даже усики у них встали торчком, запрядав из стороны в сторону. Весь овраг в движение пришел. Из-за всех повозок вынырнули цыгане и цыганки, рыская по оврагу, струясь и распадаясь на ручейки, и вскоре плотное живое кольцо замкнулось вокруг мотоцикла Будулая. Сутулясь в седельце, он чуть возвышался над всеми, как беркут.

— Кто тебя сюда звал? — издали спросила у него Тамилла.

— Никто не звал, — ответил Будулай.

С властной деловитостью она приказала адъютантам:

— Присмотрите, чтобы он отсюда не ускользнул. Если он уйдет, он всех нас продаст.

Тут же Будулай и смог оценить, как по-военному четко исполняются ее команды. Немедленно молодцы в кожаных куртках попрыгали с бугорка, на котором стояла посредине оврага «Волга», и заняли посты: один впереди, а другой позади мотоцикла Будулая. И все остальные цыгане еще теснее сдвинулись вокруг него. Все свершалось почти по правилам военного искусства.

И, похоже, выхода из этого молчаливого кольца не было. Ему ли было не знать своего народа, столь же простосердечно наивного, сколь и непреклонно беспощадного, когда кто-нибудь непрошено вторгнулся в пределы его жизни.

Какая-то старая цыганка, заглядывая снизу вверх в лицо Будулая, приподняла его подбородок крючком своей отполированной клюки и разочарованно сказала:

— Какой же это чужой? Это Будулай.

Тогда вдруг неизвестно откуда вынырнула рядом с мотоциклом Шелоро и тоже радостно закричала так, что ее голосу стало тесно в овраге:

— Пусть меня гром разразит, это он! Егор, где ты, это же Будулай! Здравствуй, Будулай! — И она завохтала вокруг него, всплескивая руками, донельзя счастливая этой встречей, как если бы внезапно встретилась со своим родным, безвестно пропавшим братом или же с кем-нибудь, кто был ей еще роднее. — Егор, где же ты? Это он!

Вынырнувший из-за повозки Егор, узнав Будулая, тоже осклабился ему из-под своих жиденьких усов как лучшему другу, не забыв шмыгнуть за голенищами сапога кнутовищем:

— Здравствуй, Будулай!

— Какой же это чужой, — громко ликовала Шелоро, — если это Будулай?!

Ее торжествующие крики прервал презрительный окрик Тамилы:

— Перестань визжать на всю степь! Как будто, кроме тебя, все слепые.

Нет, эга Тамила была явно не из тех цыганок, что в городах на базарах, на вокзалах и на тротуарах у магазинов сметают подолами с асфальта пыль. Недаром же не трехъярусные индыраки складками ниспадали по ее ногам к земле, а голые круглые колени смугло розовели из-под короткой юбки ее сшитого по новейшей моде костюма. Но свои дымчатые очки она тут же сняла, как будто они мешали ей получше рассмотреть Будулая, и, спустившись от «Волги» к его мотоциклу, с нескрываемым любопытством сказала:

— Так это ты и есть? Я по цыганскому радио давно уже слышала о тебе, Будулай.

Клюка старой цыганки, подпиравшая подбородок Будулаю, мешала ему говорить, и он отвел ее рукой в сторону.

— А я ни разу не слышал о тебе.

Тамила воркующе засмеялась.

— Вот и познакомились. Но все-таки я не думала, что ты такой идейный цыган. Да мало ли еще о чем наше цыганское радио может набрехать. — И, покончив с осмотром Будулая, обойдя его мотоцикл, она снова надела свои очки.

— Но даже если ты и есть тот самый Будулай, то почему же ты так разжалобился из-за русских детей, как будто тебе мало цыганских?

— Потому что все дети есть дети, — сказал Будулай.

— Правильно, — согласилась Тамила. — Но что-то мне не приходилось до сих пор знать, чтобы эти твои казачки вот так же побеспокоились о наших детях. Как будто все они давно уже и накормлены и одеты, как все другие дети.

И сразу же после этих слов вокруг Будулая поднялся враждебный ропот, цыганки замахали руками.

— Наших некому жалеть!

— Сами должны кусок хлеба добывать!

— Над ними только смеяться можно!

— Все дети как дети, а цыганские хуже щенков!

— Это он так говорит, потому что у него своих нет детей!

При этих словах вдруг что-то как будто толкнуло Будулая куда-то под лопатку. Он даже качнулся на седле мотоцикла вперед и сам не мог понять, как у него вырвалось:

— Есть.

Почти совсем беззвучно вырвалось, так, что большинство цыган, даже самые ближние к нему, и не расслышали его слов, не исключая Тамилы, на ярко накрашенных губах которой играла небрежная улыбка. Но у Шелоро Романовой, кроме безошибочно острого слуха, был еще и безошибочно острый глаз. То, чего она недослышала у Будулая, она тут же своим цепким взглядом схватила с его губ, и высокие крылья бровей у нее вспорхнули в непритворном изумлении еще выше.

— Что-то я на конезаводе никогда не слышала от тебя, Будулай, чтобы у тебя были дети. И Настя говорила, будто твою жену Галю с младенцем на руках задавило немецкой танкой.

Много голосов с разных сторон наперебой подхватили ее слова:

— Это по-за станицей Раздорской!

— Там и цыганская могила есть.

— Была, а сейчас уже нету.

— Ею Галья теперь в братской могиле лежит.

И негодование соплеменников обрушилось на Будулая с удвоенной силой:

— Хоть бы на память о покойнице помолчал!

— За ряди своей агитации и ее не пожалел!

— А еще говорили: из всех честный цыган!

Слишком хорошо знал своих соплеменников Будулай, чтобы не сомневаться, что теперь уже их хватит надолго. И пока они не перебурлят, не зыкипят в этом овраге до дна, нечего было и надеяться, чтобы они захотели его слушать дальше. Только Тамила, с полупрезрительной улыбкой наблюдавшая за происходящим, не сочла для себя нужным добавлять в этот котел свою долю, а ее адъютанты с ленивым выжиданием полуоблокотились с двух сторон от нее о крылья «Волги», ничуть не сомневаясь в конечном исходе разворачивающихся перед ними событий. На какое-то мгновение Будулай встретился со взглядом Тамилы, и они поняли друг друга. С нарочитым равнодушием она отвела свой взгляд в сторону. Теперь ей уже незачем

было добавлять свое масло в кипящий котел, когда со всем этим с успехом могли справиться другие цыгане. Та же Шелоро, которая с тем большим негодованием набрасывалась теперь на Будулая что искренне считала себя обманутой им в своих людских чувствах:

— Что-то я сегодня совсем не угадываю тебя, Будулай. Ты или совсем запутался, или...

И Егор, ее неотступная тень, с явным разочарованием шмыгнул кнутом за голенищем:

— Да, нехорошо у тебя получилось, Будулай. Совсем плохо.

Тем теснее сдвигались вокруг Будулая все другие цыгане, для которых он и вообще был не просто чужой цыган, а чужак, переступивший за черту круга их жизни, всегда ревниво оберегаемой ими от чужих взоров. И они видели в этом опасность для себя, которую теперь можно было предотвратить лишь единственным способом, уже подсказанным Тамиллой: не дать ему уйти обратно из этого круга. В том же, что они ничуть не сомневаются в своем праве на это, Будулай был уверен: он знал свое племя.

Лишь одна его мимолетно знакомая старуха с клюкой смотрела теперь на него из толпы не враждебным, а скорее недоверчивым взглядом.

— Может быть, я и запутался, Шелоро, но Галю мою правда тогда задавило танком, а сына — нет.

Шелоро быстро спросила:

— Где же он?

Вот теперь наверняка не должно было обойтись и без вмешательства Тамилы. Небрежным движением руки она опять сняла свои круглые очки, покачивая их за дужку, а ее телохранители, отваливаясь от крыльев «Волги», сделали стойки.

— Может быть, ты не откажешь и нам об этом рассказать, Будулай?

С седла мотоцикла он окинул толпу цыганок и цыган медленным взглядом. Он хорошо видел, что из этого живого кольца ему уже не уйти. И он также знал, что их угрюмое молчание ничего хорошего не обещает ему.

Шелоро с язвительной вкрадчивостью подхватила слова Тамилы:

— Да, да, а нам будет интересно тебя послушать. Я смерть как люблю разные истории слушать. Правда, Егор?

Егор шаркнул кнутом.

Что ж, может быть, и в самом деле настало для этого время... Слишком долго Будулай невысказанно носил все это в себе, эта ноша уже гнет его к земле, и то ли некому было передать кому-нибудь хотя бы часть ее, то ли он сам же все время и ук-

рощал себя. А теперь глаза своих же цыган с беспощадной требовательностью смотрят на него, выворачивая душу.

Вверху над оврагом проносились по дороге машины, но откуда из-за дремучего шиповника ни за что нельзя было догадаться, что здесь овраг. Адьюганты Тамилы, собиравшие на этот пленум из окружной степи цыган, знали свое дело.

Второй раз за это время что-то жесткое он почувствовал у себя на горле. Старая цыганка опять пустила в ход свою крючковатую палку, поднимая его подбородок и с настойчивой ласковостью заглядывая ему в лицо.

— Теперь уже, Будулай, тебе придется рассказать все до конца.

Вот этого она могла бы и не говорить ему. Если начинать, то только до конца.

Но кляука этой старухи, подпирая подбородок Будулая, прихватывала ему горло, и ему пришлось — тоже второй раз за это время — отвести ее рукой в сторону.

*

В хуторе Вербном привыкли уже, что время от времени, чаще весной или осенью, на большую братскую могилу у Дона приезжают из разных мест разные люди, родственники тех, кого некогда настигла в этих местах смерть. И обычно жители, проходившие мимо могилы по своим делам, старались нечаянно не спугнуть одиночества этих людей, все еще скорбящих по своим сыновьям, мужьям и отцам. Никто и теперь из проходивших мимо хуторских жителей не потревожил эту явно нездешнюю молодую женщину, которая, как только пришла сюда еще совсем ранним утром, села на суглинистом откосе, так и застыла, положив на колени руки. Вода, нагоняемая на берег низовкой, плескалась у ее ног, и ветер трепал ее черные волосы. Из-за острова солнце давно уже перекочевало через Дон и прицеливалось уже к тому проему между горами нависших над хутором бугров, куда оно уходило на ночь, а эта женщина сидела все на том же месте. Только перед самым вечером она вдруг очнулась и провела рукой по глазам, вставая.

За своими горестными размышлениями на могиле у сестры Настя и не заметила, как день прошел. А ведь ей до возвращения Михаила еще надо было успеть и то письмо вернуть, которое ему так и не удалось вручить Будулаю.

Когда Настя увидела, как открывшая ей дверь Клавдия изменилась в лице и страх заметался у нее в глазах, она поспешила предупредить ее, сунув руку за вырез платья:

— Ты не бойся, я ни с чем плохим не приехала к тебе. Просто мне нужно тебе отдать твое же письмо.

Вот они наконец и встретились лицом к лицу, хотя за это время и многое уже успели узнать друг о друге. Но если Клавдия все-таки уже видела Настю, пусть издали, то Насте теперь довелось увидеть ее впервые. И с внезапно уловившей ее сердце ревностью Настя отметила про себя: она была еще моложе, чем Настя думала, и вообще собой лучше. А это бордовое платье с белым кружевным воротничком особенно шло к ней.

— Что же ты на пороге стоишь? Входи,—сторонясь и пропуская Настю в дом, сказала Клавдия.

Уже в доме, отдавая ей замасленный пальцами Михаила конверт, Настя решила объяснить ей:

— Только ты не подумай, что письмо не попало к нему из-за меня. Он уже давно уехал с конезавода, и его не смогли найти.

— А я уже и ждать перестала,—с нескрываемой радостью сказала Клавдия.

Теперь и она могла вблизи как следует рассмотреть ту, которую до этого только издали видела в клубе на конезаводе и потом у цыганского костра в степи. Но и к клубу эта молодая цыганка подъехала тогда на мотоцикле в мужских штанах, из-за которых ее не сразу можно было и за женщину признать, и с того кургана, на котором лежала ночью Клавдия, ее нельзя было как следует разглядеть, неуловимо скользкую вокруг Будулая при полусвете костра в своем, тоже неуловимо вьющемся вокруг нее, как дым, цыганском платье. Теперь же перед взором Клавдии была совсем другая, молодая и красивая женщина в широко шитом полусарафане-полуплатье с оборками, из-за которых не сразу можно было и догадаться, что она уже ждет ребенка. Но ни единого пятнышка не заметила Клавдия на ее не по-цыгански белом лице.

— Я бы на твоём месте никогда его не перестала ждать,—сказала Настя

И тут вдруг как знакомый отблеск скользнул по лицу Насти, и Клавдии даже показалось, что она опять отчетливо услышала: «Ненавижу ее». Взглядывая на живот Насти и сама брезгуя своими словами, Клавдия сказала:

— Об этом тебе уже поздно думать.

Настя улыбнулась.

— А он, оказывается, не так хорошо тебя знал.

Испуг и раскаяние, смешавшись, залили лицо Клавдии краской такого стыда, какого она, может быть, еще никогда не испытывала в жизни. Ей пришлось наклонить голову и, смаргивая слезы, переждать, прежде чем ответить Насте:

— Если сможешь, то, пожалуйста, прости меня. Я и сама не знаю, что это сейчас со мной

Тут же она с удивлением подняла голову, не услышав в словах Насти ожидаемого торжества.

— Не будем сейчас считаться, кто перед кем больше виноват. Я вон и это твое письмо не стерпела прочитать.

И после этих слов вдруг будто какая-то невидимая перегородка, разделявшая их, рухнула, упала, и им обеим сразу стало легко и проще смотреть в глаза друг другу. Клавдия вспомнила о своих обязанностях хозяйки.

— Что же ты стоишь? — сказала она, подвигая стул Насте. — Сейчас я на стол соберу.

— Нет, ничего не нужно, — отказалась Настя, хотя с самого раннего утра у нее ни маковой росинки не было во рту. — Мне долго рассиживаться нельзя. — Но на стул, подвинутый к ней Клавдией, она села.

— А куда же он уехал? — будто издалека услышала она обрешенный к ней вопрос Клавдии.

— Вот этого я тебе не смогу сказать. Я и сама не знаю, — сказала Настя.

В окна дома, выходившие во двор, ей видно было, как солнечный диск уже начинает соскальзывать за нависшую над хутором гору. Если Михаил еще не вернулся со станции Артем с грузом, то скоро уже должен будет подъехать и ждать ее там, в степи. Но и не могла же она уйти из этого дома, так ничего и не узнав о том, кто сперва был сыном ее родной сестры, а потом стал сыном этой женщины. И спросить у нее об этом Насте было не так-то просто. Наконец с нарочитой небрежностью она, как бы мимолетно, спросила у нее:

— А что Ваня, все еще при тебе живет или уже учится где-нибудь?

— Учится, — отвечала Клавдия. Но и солгать под ее взглядом она не смогла. — Но сейчас у них тут военные учения, и он дома.

Ее смятение при Настином вопросе было столь явно, что не надо было догадываться о причине его, и Настя заискивающе сказала:

— Мне ничего другого не нужно, как только взглянуть на него. Если, конечно, ты разрешишь. Все-таки и мне он не совсем чужой.

Ответные слова Клавдии прошелестели чуть слышно:

— Он сегодня обещал приехать раньше. Ты подожди чуток.

И все-таки, когда вскоре прошуршала на улице под окнами машина и прогнали тормоза, смятение опять отразилось на лице у нее с такой силой, что Насте пришлось еще раз сердитой скороговоркой напомнить:

— Я ведь уже сказала, что бояться тебе нечего. Ничего я ему не собираюсь говорить, а хочу только посмотреть на него.

Еще не успела после этих ее слов погаснуть на губах у Клавдии виновато-жалкая улыбка благодарности, как тяжелые шаги послышались на крыльце и открылась дверь.

— А вот и мы,— весело сказал молодой ломкий голос.

Вот и еще раз за этот день сердце у Насти вдруг подкапало к самому горлу. Если бы не готовила она себя к этой встрече, она все равно бы сразу безошибочно сказала, что этот черноглазый молодой военный, который, переступая через порог, пропустил впереди себя другого, пожилого военного, и есть Ваня. Ей достаточно было только встретиться с его глазами.

Тут и Клавдия суетливо бросилась знакомить их.

— Это и есть Ваня, мой сын, а это...— Она с трудом справлялась с собой, слова ее рвались в клочья: — это...

Насте невыносимо стало и дальше смотреть на нее, слушая, как она комкает слова под удивленным взглядом этого другого, пожилого военного, и она поспешила закончить за Клавдию:

— ...сестра той цыганки, которая тут у вас в братской могиле лежит.

— Здравствуйте.— Сверху вниз Ваня внимательно заглянул в лицо Насте и тут же спросил у нее: — А случайно с этим Будулаем, ну, с ее мужем, вам не приходилось встречаться где-нибудь?

Взгляд Клавдии, устремленный на Настю, был так тревожно зыбок, что она тут же с преувеличенной твердостью ответила ему:

— Нет, не приходилось.

— Жаль,— с небрежностью в голосе сказал Ваня и, поворачиваясь к Клавдии, поинтересовался у нее: — Там, мама, у тебя нет чего-нибудь такого поесть, чтобы не слишком долго ждать? Мы с Андреем Николаевичем еще и на ночь за Дон поедим.

Если бы не эта небрежность в голосе у Вани, резанувшая слух Насти, она наверняка не стала бы переспрашивать у него, в то время как Клавдия ринулась к коробу и к посудной полке, меча на стол кастрюли и гарелки.

— Почему же тебе жаль, Ваня?

Громяхая рукою и локтем, он полуобернул к ней голову, явно удивленный тем, что ей, совсем незнакомой женщине, вздумалось продолжить этот разговор, и, тщательно вытирая руки полотенцем, ответил:

— Потому что тогда я бы хоть с вами мог передать этому Будулаю то, что мне давно уже надо было ему сказать.

То ли эта небрежность в голосе, то ли еще что-то другое подсказывало Насте, что не надо бы ей дальше продолжать этот разговор. Все же она не могла удержаться:

— Но, может быть, мне доведется еще когда-нибудь повидать его.

Михаил, конечно, уже поджидал ее в степи на горе, высунув из кабины свои чуб, но теперь уже Настя не стала отказываться, когда Клавдия поставила и перед ней на стол тарелку с борщом. Теперь они все вчетвером сидели в комнате за столом: Настя против Вани, а Клавдия против этого второго, немолодого военного, приехавшего с Ваней на машине. Сев за стол, он гут же и склонился над своей тарелкой, поставленной перед ним Клавдией, в то время как Ваня, медленно помешивая в тарелке ложкой борщ, отвечал Насте:

— В таком случае вы не забудьте передать ему, что у нас здесь кое-кто еще помнит его цыганские сказки. И то, как он хвалился, что уже навсегда нахватался ноздрями этого кочевого ветра, и еще кое-что.

Нет, он, конечно, не только своими глазами так напоминал сейчас Насте того, о ком все это говорил, но и звуком своего голоса: как будто какой-то ком навсегда остановился у него в горле. И еще чем-то, особенно когда он этой презрительной улыбкой пытался подкрепить свои слова, но она не удавалась ему. а лицо его оставалось все таким же юношески добрым.

— Этого я ему не стану передавать,— сказала Настя.

Ложка остановилась в руке у Вани, и он поднял от тарелки глаза:

— Почему?

— Потому что этот Будулай,— в тон ему сказала Настя,— никогда не хвалится и вообще не умеет рассказывать сказки. При этом на Клавдию она избегала смотреть.

Не смотрела и Клавдия на нее, а смотрела на Ваню. Но он или не замечал устремленного на него взгляда матери, или же не хотел замечать. Последнее время стоило лишь нечаянно напомнить ему о том, о чем теперь напомнило ему появление у них в доме Насги, как его уже невозможно было остановить. Будто бес воеялся в него. И не его надо было за это винить. Это, конечно, она, только она одна виновата во всем. И теперь расплачивается за все это тем, что должна молча слушать из его уст эти жестокие слова, произносимые им с тем большей настойчивостью, чем настойчивее просил его замолчать умоляющий взгляд матери. И не было здесь Нюры, задержавшейся на птичнике, которая одна могла удержать его от этих слов.

— Вам, конечно, и как цыганке и как его родственнице, положено его защищать, но и нам тут кое-что может быть известно о нем. Лично из меня, например, он даже пытался здесь в нашей кузне тоже кузнеца сделать.

Он говорил, а Настя смотрела на него через стол, не столько вслушиваясь в смысл его слов, сколько все больше сравнивая и поражаясь: одно лицо. Теперь уже и полковник, Ванин начальник, подняв от тарелки голову, с удивлением смотрел на него. От Дона, из открытых на хуторскую улицу окон доносились голоса ребятишек, весело плескавшихся в воде у подножия братской могилы.

*

Если цыгане, окружавшие Будулая, все время, слушая его, молчали, ни разу не перебив, и только похоже было, что кнуты вдруг сразу оказались лишними у них в руках, они и вертели их перед глазами, рассматривая кожаные мохры, и начинали постукивать ими по голенищам сапог, то их менее сдержанные подруги начали сморкаться уже с того самого места, когда Будулай стал рассказывать, как чужая русская женщина подобрала в кукурузе и дала грудь его внезапно осиротевшему сыну. А когда Будулай кончил, над оврагом взметнулся их плач. Плакали все, как одна, цыганки, и, потрясенные, немо молчали цыгане.

Вдруг, озаренная догадкой, закричала Шелоро:

— Я эту женщину знаю... — От мотоцикла, на котором сидел Будулай, она метнулась к «Волге», подле которой стояла со своими адъютантами Тамила: — Я, Тамила, ее знаю, он правду рассказал...

Но тут один из телохранителей Тамилы заступил ей путь.

— Но, но! — угрожающе предупредил он, и кисточки черных усов вздыбились у него на губе.

Тогда Шелоро бросилась к Егору, напоминая ему:

— Егорушка, ты ее тоже должен помнить, это я от нее тогда мешок пшеницы принесла.

Егор поначалу безропотно согласился:

— Может, и от нее. — Но тут же ему почему-то захотелось доказать своим цыганам, что его мнение может и не зависеть от мнения его подруги жизни. — Но в глаза я ее не видел тогда. — И он шмыгнул кнутовищем за голенищем сапога.

Теперь уже и другой адъютант Тамилы, стоявший по правую руку от нее, презрительно пошевелил стрелками усов.

— Ты где-нибудь это в другом месте, Шелоро, поищи дурачков, чтобы они поверили тебе, а цыгане все эти сказки знают. — И, взглянув на Будулая, он повел в его сторону стрелочками усов: — Ему, рома, тоже ничего не стоит вас по дешевке купить. Это он отрабатывает свои орден.

Но при этих словах ропот прокатился по оврагу, смывая женский плач, и рассыпался на злые выкрики:

- Нет, он правду рассказал!
- Мы эту могилку все видели!
- Ты его орденов своими руками не цапай!

Однако и этот многоголосый гомон удалось перекрыть своим криком Шелоро.

— Я эту Клавдию знаю, я знаю ее, — смеясь и плача, доказывала она, хватая за руки Тамилу. Та брезгливо отдергивала от нее свои руки. Вслед за Шелоро и все другие цыгане, отхлынув от могоцикла Будулая, прихлынули к «Волге», наступая на адъютантов Тамилы:

- Ему нам не к чему брехать!
- Он с наших детишек проценты не берет!
- Ты сперва попробуй сам хоть один орден заслужить!
- Они только на «Волгах» умеют кататься!

Еще раз Будулай воочию мог убедиться, как неуловимо изменчив в смене самых противоположных настроений характер его племени. Вот уже руки цыганок, а первыми среди них руки Шелоро потянулись к адъютантам Тамилы, дергая их за борта и карманы кожаных курток. У Шелоро были и свои счёты с ними, особенно с этим, который только что пытался заткнуть ей рот. Теперь он вместе со своими усиками так и влип в дверцу «Волги», а Шелоро нащупала уже и замочек змейки «молнии» на его дорогой куртке с явным намерением распахнуть ее. Другого же адъютанта Тамилы старалась достать крючком своей палки старая цыганка. Дело приобретало совсем плохой оборот. Но Тамила со спокойным лицом продолжала стоять между своими адъютантами, как будто все происходившее с ними совсем не касалось ее. Однако не успел Будулай подумать, что теперь, пожалуй, и ей не так-то просто будет прийти им на помощь, как она тут же заставила его убедиться в обратном.

— Так вам и надо! — вдруг презрительно крикнула она, расталкивая их руками от себя на две стороны и выступая из-под их охрачы вперед. — За то, что вы так и не научились разбираться когда вас обманывают, а когда человек захотел свою душу открыть. Все это правда, что он рассказал. Этого придумать нельзя.

Нет, для этой Тамилы многое надо было, чтобы выбить ее из седла. Еще и как сумела она в самый последний момент прийти на помощь своим молодцам, которые уже совсем было растерялись перед лицом разъяренно наступавшей на них толпы. Но для этого ей сперва потребовалось отречься от них. И теперь уже она могла безбоязненно продолжать в уверенности, что разбушевавшиеся цыгане не останутся равнодушными к ее словам. Теперь уже они захотят к ним прислушаться получше, как привыкли всегда прислушиваться к ней. Та же Шелоро невольно повернула голову, выпуская свою жертву с усиками, которую

она уже обеими руками держала и трясла за воротник кожаной куртки. Ее примеру последовала старая цыганка, успевшая уже зацепиться своей кляукой за воротник другой, точно такой же куртки. А после этого и Егору, мужу Шелоро, ничего другого не оставалось, как тоже стыдливо вернуть на место свой кнут, извлеченный им было на всякий случай из его кожаных ножен.

Тамиле ничего другого и не надо было, чтобы эту разбушевавшуюся стилию окончательно ввести в ее берега. Оставалось только дать ей выход в другую сторону, чтобы она добушовала до конца, и она прекрасно знала, что для этого надо сделать. Наблюдавшему за ней с седла мотоцикла Будулаю ничего не оставалось, как восхищаться, видя, как она, зевая и прикрывая ладошкой рот, уже говорила цыганам в своем привычном снисходительном тоне:

— А глереь, рома, с нас на сегодняшний день уже вполне хватит всяких грустных и умных речей, теперь мы гулять будем. А там посмотрим. Из этого оврага нас никто в шею не гонит, и у тех же твоих русских, Будулай, хорошая поговорка есть: утро вечера мудренее. Правильно, Будулай? А если правильно, то поскорей слезай со своего железного коня и докажи всем другим цыганам, что ты все еще тоже цыган. Зажигайте, рома, на всю ночь костры, мне там, в городе, на асфальте негде плясать

О, она хорошо знала, за какую нужно дернуть струну. Те же самые цыгане, повинаясь ее команде, со всех ног бросились в разные стороны по оврагу в поисках топлива для костров. Еще совсем немного времени прошло, и над первым из них уже взметнулся куст пламени, раздвигая темноту осеннего вечера. Задрожав по-цыгански плечами, Тамила в своем модном городском костюме первая вышла в круг. Еще одно только слово ей осталось бросить через плечо своим верным адъютантам, донельзя обрадованным тем, что буря уже пронеслась над ними:

— Музыку!

И тут же неизвестно откуда появившиеся у них в руках гитары бурно взрокотали, с места беря разбег. А Егор Романов уже бежал к ним от повозки со своим стареньким баяном. Так же внезапно по мимолетному знаку Тамилы гитары в руках у ее адъютантов смолкли, и она с беспокойством крикнула вдогонку Будулаю, покотившему за руля свой мотоцикл из светлого круга костра куда-то в сторону:

— А ты что же, уезжаешь, Будулай?

— Нет, я только немного отъеду. Я тут недалеко,— не оглядываясь, ответил Будулай.

— А-а! — Она догадливо захохотала. — Если по твоим речам судить, то ты еще молодой, Будулай, а так, оказывается, ты уже старик. И какой же ты после этого цыган, если кобылка

перед гобой ногой землю бьет, а ты от нее убежать спешишь? Боишься, как бы она тебе голову не закружила, да? — И видя, что Будулай, не оглядываясь, все дальше уводит свой мотоцикл в темноту, она захохотала еще громче. — Это тебе не лекции перед темными цыганами толкать. — Хотя бы отчасти она хотела выместить на нем за только что пережитое поражение, и то, что он не оглядывался, еще больше подогревало ее: — Ну, тогда спокойной ночи, бывший цыган, а я теперь танцевать буду. Мне там, в городе, негде по-цыгански танцевать, и я сегодня танцевать буду до утра.

И по ее знаку опять бурно взыграли в руках у ее адъютантов гитары, прервавшие свой разбег.



— В общем, цыган есть цыган, — дочерпывая из тарелки ложкой борщ, с уверенностью заключил Ваня.

И это не при ком-нибудь, а при ней, при Насте, и глядя ей прямо в глаза, с такой вопиющей несправедливостью отзываются о том, кого она еще совсем недавно так любила, а может быть, еще и теперь... Но об этом она твердо поклялась самой себе никогда больше не вспоминать и никогда уже к этому не возвращаться. Теперь ей уже поздно думать об этом... И кто же все это говорит, его же собственный, кровный сын, хоть он до сих пор и не знает об этом. Но это уже из другой песни. И совсем не обязательно быть сыном Будулая, а достаточно просто увидеть его хоть раз, чтобы тут же и поверить, что он не мог заслужить ни одного из тех слов, которые сейчас произносят о нем за столом. И если эта женщина, ради спокойствия которой Будулай отказался от своего сына, теперь, сидя здесь же и молча слушающая, не перечит тому, что говорит он о своем отце, то ей, Насте, уже не под силу молчать. Надо только набраться спокойствия, чтобы до конца выдержать эту вязкую на себя роль.

— Ты же, Ваня, не можешь знать всех цыган, а говоришь о них так, будто знаешь, — тихо сказала Настя.

— А зачем мне их всех знать? Достаточно хорошо узнать одного, чтобы понять, чего они стоят.

Еще тише она спросила:

— Чего же они, по-твоему, стоят?

— А того, если вам хочется знать... — Ваня остановился. — Нет, вы обидитесь на меня. Лично вас, я, конечно, не имею в виду.

— А ты, Ваня, не бойся, что я обидеться могу. Если уж начал, то говори... Договаривай до конца.

— Ну, если не обидитесь... — И тут Настя с тайной болью и невольным любованием увидела, как в глазах, в лице и во всей

выходке его выступило то, что было так знакомо ей. Как будто это сам Будулай, но еще совсем молодой, юный, сидел перед ней за столом и бросал все эти слова. Но только злой Будулай, а то-го Будулая, какого знала Настя, ей еще никогда не приходилось видеть злым. И при этом природное, цыганское так обозначилось в лице у Вани и осветило его откуда-то изнутри, что Настя на мгновение даже прикрыла ресницы и, не глядя на Клавдию, не увидела, а скорее почувствовала, как та тоже испуганно опустила глаза. Этот же полковник, ее квартирант, наоборот, подняв от стола свои глаза, смотрел на Ваню так, будто и видел и слышал его впервые.

— А того стоят, что нельзя верить ни единому их слову. Ни одному. Даже самому лучшему из них. Он тебе наговорит...— Ваня глубоко вгянул в себя воздух, и что-то клокотнуло у него в горле...— Он тебе даже на своих же собственных цыган может наговорить за то, что они опять и кочуют и не работают, как все другие люди, а обманывают, или, попросту говоря, дураят других людей. Он тебе даже может поклясться, что сам уже никогда больше этого не позволит, никогда, а потом в один прекрасный день свой цыганский картуз в руку и — тоже за теми же самыми цыганами, которых только что ругал, тью-тью! — Что-го опять клокотнуло у него в горле, он смолк и, опуская голову, сказал: — Но только лично вас я ничуть обидеть не хотел. А если обидел, то вы, пожалуйста, извините меня.

У Насти, смотревшей на него, так и сжалось сердце. Бедный мальчик! Как же долго, должно быть, копилась в нем вся эта горечь, если теперь она с такой силой, почти с ненавистью выплеснулась из него. И ничем нельзя было его разуверить, ничем, кроме одного-единственного. Но даже и не глядя на Клавдию, чувствовала Настя, как кричало из ее глаз: «Только не это! Этого нельзя касаться!»

А этот полковник, ее квартирант, продолжал внимательно смотреть на Ваню неузнающими глазами и ничегошеньки, конечно, не понимал.

Но и не могла же Настя так и оставить безответными все эти слова.

— Все-таки. Ваня, ты не имеешь права так о цыганах говорить, потому что ты по своей молодости не можешь их знать. Среди цыган тоже, как и среди русских, разные люди есть. И вообще за глаза никогда, Ваня, не стоит говорить о человеке того, чего ты не смог бы ему в глаза сказать.

Если лицу Вани Пухлякова и вообще не надо было природной смуглости занимать, то за эти дни военно-полевых занятий в степи оно сделалось совсем черным. И все же при последних словах Насти краска обиды так густо прихлынула к его лицу, что проступила и сквозь эту черноту, а глаза Вани как будто

подернулись пленкой. Опять таким знакомым показался для Насти этот взгляд, охвативший ее черным огнем.

— Если бы можно было, я бы ему и в глаза сказал, что даже и для цыгана должно быть стыдно, когда люди поверили ему, наплевать им в самую душу,—вздрагивающим голосом сказал Ваня.

Вот когда и эта женщина, его теперешняя мать, осмелилась наконец подать свой голос.

— Ваня, что ты говоришь?! — в непритворном ужасе сказала Клавдия

Вслед за тем и полковник, быстро взглянув на ее побледневшее лицо, впервые вмешался в разговор:

-- А вот я, Ваня, после войны так и не смог найти того самого цыгана, который под селом Успенским вытащил меня из горящего танка и три километра до госпиталя на себе тащил.

Настя увидела, как Клавдия так и ухватилась за эти его слова.

— Вот видишь, Ваня.

Но и понять эту странную женщину нельзя было до конца. Только что слово бояться вымолвить наперекор Ване, который так говорил о своем отце, и вот уже с явной благодарностью смотрит на этого полковника, когда тот заступился за цыган. И тут внезапно острая ревность за Будулая, который где-то теперь скитался по осенней степи, не зная ни о чем, проколола Настин сердце. Все больше поддаваясь этой ревности, но и с какой-то тайно забрезжившей надеждой Настя начала больше присматриваться к Клавдии и к этому полковнику. Конечно, она давно уже не верила всяким цыганским гаданиям, но кто знает, может быть, и правда, у ее соплеменниц есть что-то такое, что позволяет им с полуслова и с полувзгляда ставить в связь и понимать то, что бывает недоступно заметить и понять всем другим людям. И как бы ни смеялась она над своими темными соплеменницами, она ведь тоже цыганка была. Лучше присматриваясь к Клавдии и к ее квартиранту, она теперь все больше начинала замечать и ставить в связь то, чего не видела раньше, и чему до этого не придавала значения, поглощенная разговором с Ваней. И то, что этот полковник все время молчал за столом, не вмешиваясь в разговор до тех пор, пока не вскрикнула при последних Ваниных словах Клавдия, а после этого, взглянув на нее, так и бросился к ней на помощь. И, конечно же, бросился не столько ради того, чтобы заступиться перед Ваней за цыган, а чтобы успокоить ее, Клавдию, и тем самым заслужить ее благодарность. Вот она и смотрит теперь на него, как на свет в окне, блеснувший посреди темной ночи. Конечно. Настины соплеменницы все врут доверчивым людям, угадывая их прошлую и будущую жизнь по картам, по линиям руки, но

здесь не надо было ни карт, ни каких-либо иных гаданий. Все было налицо. И все больше Насте казалось, что она улавливает эту связь, не замеченную ею прежде... С какой бы стати Клавдия в обычный будничныи день вырядилась и в это явно выходное бордовое платье с кружевным воротничком и щеголяла в нем, хлопчачья по дому? Никакого другого мужчины, за исключением этого полковника, Ваниного начальника, здесь больше не было, и, судя по всему, он уже не первый день живет у нее в доме. А ниточкой, все более скрепляющей эту связь, понятно, должен быть Ваня, который и привез этого полковника к себе домой на военной машине. Все сходилосъ без всяких карт и каких-нибудь других гаданий, в которые давно уже не верила Настя. И все, что ей надо было выяснить, она теперь выяснила до конца, больше ей нечего было делать в этом доме. Михаилу, должно быть, уже не один раз и спутало и расчесало ветром его казачий чуб, пока он, высовываясь из кабины, выглядывает ее там, на окраине кукурузного поля.

Она поднялась из-за стола, прощаясь.

— Вы все-таки не сердитесь на меня, если я нечаянно обидел вас,— дотрагиваясь до ее руки своей рукой, виновато сказал Ваня

Снова из его глаз глянуло на Настю такое нестерпимо знакомое, что она не удержалась и, притягивая руками его голову к себе, поцеловала его в лоб:

— Мне, Ваня, не за что сердиться на тебя.

В самом деле, за что ей было сердиться на него, если он так ничего и не знал, если это ему по его неведению казалось, что он так жестоко обманут.

И все же ей надо было поскорее отсюда уходить, иначе она не отвечала за себя

Но, уходя, еще надо было выяснить кое-что. И когда Клавдия вышла на крыльцо проводить ее, Настя, как бы между прочим, спросила у нее:

— А у этого твоего квартиранта есть семья или нет?

Не подозревая в ее вопросе никакого вероломства, Клавдия с грустным простосердечием ответила:

— Нет, Ваня рассказывал, будто его жену с малым дитем немцы в Киеве загубили, она еврейка была.

— И с той самой поры он так один и живет?

— Один.

И вдруг под пристальным взглядом Насти она вся так и облилась румянцем.

— А мужчина он еще совсем не старый,— не сводя с нее взгляда, с удовлетворением заключила Настя. И неожиданно для самой себя добавила:— За таким мужем можно, как за печкой, жить.

Было похоже, что Клавдия намеревалась что-то ответить ей, но Насте уже ничего больше не нужно было. Семья догадки, запавшей ей в сердце, проклюнулось и дало росток. Попрощавшись с Клавдией, она повернулась и пошла от нее прочь по дороге, поднимающейся из хутора в степь, в гору.

Она уже стала огибать глиняную красную кручу, когда услышала за собой быстрые шаги и, оглянувшись, с удивлением увидела, что это Клавдия. Не накинув на голову платок, в чувяках на босу ногу, она почти бегом догоняла Настю.

— Подожди-ка! — крикнула она, взмахнув рукой. И, добежав до Насти, пошла рядом с ней, тяжело дыша. — Я немного провожу тебя, ладно?

Уловив в ее голосе что-то новое, пока еще непонятное, Настя повела плечом.

— Провожай.

Некоторое время Клавдия шла рядом с нею молча, мелкие камешки, нанесенные на дорогу из степи дождевой водой, с шорохом осыпались из-под их ног под откос. Потом она тронула Настю за рукав.

— Ты не шибко спеши, мне еще надо у тебя спросить... — Полуобгоняя Настю, она зашла впереди нее. — Ты зачем приезжала сюда?

— Ты же знаешь, зачем, — не останавливаясь и обходя ее стороной, ответила Настя.

— Нет, еще подожди! — крикнула Клавдия, опять догоняя ее и опять заступая дорогу. — Ты что же думаешь, что я без тебя не знаю, за кого мне замуж выходить?!

— Ничего я такого не... — начала Настя.

Но Клавдия перебила ее. Загораживая Насте дорогу, она выкрикнула ей в лицо:

— А ты разве не знаешь, что я уже искала его по всей степи?! Разве ты не читала мое письмо?

Ни одной, должно быть, женщине не дано до конца понять свое сердце. А Настя еще и цыганка была. И, остановившись посреди дороги перед Клавдией, она сказала, глядя ей в глаза.

— Если б я знала, что он ко мне так же, как к тебе, и при мне был бы его сын, я и с этим пузом все бросила бы, всю степь перевернула, а нашла его.

— Вот ты какая! — с изумлением сказала Клавдия. — Это что же ты хочешь сказать, что ты одна такая и любишь его больше всех, а другие ни капельки, да? Вот ты какая хорошая, но что ты в этом можешь понимать? И что же ты от меня требуешь, чтобы я сейчас стала рвать на себе кофту и тоже побожилась тебе, что без него для меня белого света нет?! Или же чтобы поднялась на эту глиняную кручу над Доном и крикнула

всем людям, чтобы они мне разыскали его?! — Клавдия передохнула и перешла почти на шепот: — А если об этом нельзя никому говорить, тогда что? Если об этом ни одна душа не имеет права знать, кроме тебя самой?! — Она снова глубоко вздохнула, и к ней вернулся ее прежний голос. — Молодая ты, Настя, еще, и не можешь этого понять. — Прислушавшись к шороху камешка, покотившегося из-под ног ее под откос дороги, Клавдия вслух как бы согласилась с какими-то своими мыслями. — А может быть, у вас, у цыган, и это все как-то по-другому. Я же тогда видела, как ты кружилась перед ним, и слышала, что ты говорила ему. Нет, я теперь не обидеть тебя хочу. Каждый, видно, по-своему бьется за свое счастье. Но и бросить сейчас все, чтобы его по степи искать, я тоже не могу, это ты понимаешь? Чтобы все бросить и днем с фонарем свое счастье искать, а другие в это время пусть все делают за тебя?! Ты совсем еще молодая, Настя, и может быть, привыкла с места на место кочевать, а мне так жить нельзя. Я не могу за чужой спиной свое счастье искать. Только ты не обижайся, я ничего худого про тебя не хотела сказать. Видно, у каждого своя жизнь. Я ведь уже искала его, и если бы я только знала...

Но в этом месте Настя, все время терпеливо слушавшая Клавдию, прервала ее. Все время, пока Клавдия сбивчиво бросала ей в лицо эти слова, она смотрела не на нее, а куда-то в сторону, в туманное Задонье, а теперь повернула к ней голову и встретилась с ее взглядом. Непередаваемую усталость увидела вдруг Клавдия у нее в глазах. Как будто она только что несла на эту гору тяжелейшую ношу, и Клавдия услышала, как под тяжестью этой ноши до неузнаваемости изнемог ее голос.

— Ну чего ты пристала ко мне, я же его не стану тебе искать. Я уже ушла с твоей дороги, а ты хоть теперь с моей уйди.

И, отстранив Клавдию рукой, она, больше не оглядываясь, пошла вперед, в гору.

Вскоре ей послышались звучно рассыпающийся по сухой дороге топот, похрапывание и сердитый старческий голос:

— Тише вы, окаянные, еще подшибете кого-нибудь.

На всякий случай Настя отступила под кручу, прижимаясь к ней спиной. Она сделала это вовремя, потому что тут же и выплеснулась из-за глиняной кручи горячая живая волна. Возвращался из степи в хуторские конюшни на ночь табун. И как бы, должно быть, ни хорошо было ему там, на степном, хотя и скудном уже осеннем приволье, возвращался он оттуда в обжитые стены нетерпеливой дробной рысью. Отказываясь повиноваться своему табунщику, кричавшему дребезжащим голосом:

— Тихо, говорю, тихо! Я кому сказал!

Сбивая табун на это ослушание, впереди него неслись, полегаям выгибая головы, сосунки, заставляя и своих матерей срываться со степенного шага. Когда лошади поравнялись с Настей, ее так и опажнуло запахами степи. В спутанных своих гривах, на лоснящихся шкурах лошади несли их к Дону.

На этот раз Гром, должно быть, не заметил Настю, отступившую в выемку под глиняной кручей, а она не успела рассмотреть его в поднятом табунном облаке пыли. Ну и пусть, может быть, и к лучшему. Один раз утром встретились — и на том спасибо. На сегодня Насте уже достаточно всех этих встреч. Все как будто сговорились сегодня напоминать ей о том, что она сама давно уже поклялась выдернуть из своего сердца. И незачем, чтобы теперь это бессловесное животное с говорящими глазами лишний раз напомнило ей об этом.

Табун давно уже ссыпался под гору, а над дорогой все еще витало оставленное им теплое облако. И на губах у Насти, одолеваяющей крутой подъем, долго оставалась вяжущая сладость этого степного нектара, смешанного с солонцеватой горечью конского пота.

Михаил с грузом минеральных удобрений в кузове самосвала давно уже поджидал ее, и его выглядывающий из кабины чуб пламенел под вечерней зарей.

*

По всему оврагу разгорались костры, не было только между ними, как некогда в раннем детстве Будулая, шатров, но и теперь все тот же опрокинулся над его головой беспредельный шатер, на котором колосились и осыпались звезды и трепетали просверки отдаленных сухих молний. Неплохое, оказывается, он выбрал себе место для сна на опушке лесной полосы, над самым краем оврага, источающего свет и звуки бурного веселья, которому теперь по-детски предавались цыгане. Сверху переливался над его головой большой звездный путь, а внизу метались вокруг костров гени. И он не сомневался, что самая быстрая из них, метавшихся посредине оврага вокруг большого костра, была Тамила. Не может быть, чтобы она вот так просто и отказалась от того, ради чего сегодня приехала сюда на своей серебристой «Волге». Нет, она, конечно, постарается оттанцевать себе у цыган согласие на то к чему ей так и не удалось склонить их словами. С пустыми руками она не захочет отсюда уезжать, а если ей не удастся теперь взять за свое поражение реванш, то, может быть, и Будулаю придется ждать от нее послон. Кого-нибудь из тех же ее ангелов-хранителей, понимающих ее с полуслова и на лету подхватывающих ее взгляды. Но, может быть, обойдется и без этого и ей удастся станце-

ваться с цыганами там, в овраге, откуда теперь доносился до него вместе со звуками музыки тот гортанный гомон, по которому его соплеменников можно узнать за сто верст. Теперь им до утра хватит танцевать и, слоняясь по оврагу от повозки к повозке, собираясь кучками, обсуждать то, что они услышали от него сегодня. Особенно женщинам. Но и после, когда они уже опять разъедутся по степи и пристанут на зимовку на окраинах городов и поселков, эта история будет сопутствовать им, разделяя и ввергая в тот непримиримый спор, в котором находился и Будулай с самим собой с того дня, как ушел он из хутора Вербоного: правильно или нет поступил он, оставив там навсегда своего единственного сына?

Но теперь, что бы там ни было, а ему перед дальнейшей дорогой нужно поспать. Он давно уже не помнил, чтобы отходил ко сну с таким легким сердцем. Как будто свалился с него камень после того, как он наконец открыл свою душу людям, рассказал обо всем цыганам. Все это время он нес эту ношу сам, не разделяя ее ни с кем и ревниво оберегая от посторонних глаз, но от этого она становилась лишь тяжелее, и уже невольно ему стала эта тяжесть. И вот, когда он неожиданно для самого себя открылся людям, они поняли его. Те самые цыгане поняли, о которых он до этого думал как о людях чуть ли не самых слепых на земле. Сравнимых с тем же перекасти-поле, которое, оторвавшись от корней, мчитя по степи неведомо куда. А эти слепые вдруг заглянули ему своими глазами в самую душу, и впервые свалился с нее этот камень. Как будто они взяли и переложили на свои плечи самую тяжелую часть его ноши, а от этого неизвестно каким образом вдруг восстановилась у него и прервавшаяся внутренняя связь с Ваней, его сыном.

Давно уже не было ему так легко, покойно. Ах, как хорошо, отчетливо передаются по чистому воздуху ночи и эти баяны с гитарами и этот свет от костров из оврага. Даже отсюда можно представить, какая там сейчас разбушевалась буря, как мечутся по кругу, плещут крыльями и вихлятся, выхваляясь одна перед другой, цыганки. А пуще всех, конечно, Тамилла. Уж ее-то сегодня никто не сможет перетанцевать.

Уже погружившись в сон, скорее не услышал он, а своим чутьем разведчика уловил какое-то беспокойство неподалеку от того места, где лежал. Открыв глаза, отчетливо услышал, как мягко щелкнула дверца подъехавшей машины и от нее зашелетели в его сторону по траве шаги. Сперва несколько человек направились к нему, но потом они остановились и от них отделились только эти легкие шаги. Тонкая тень проскользнула между Будулаем и оврагом, со дна которого струился, переливаясь через его края, свет от костров.

— Ты еще не выпался, Будулай? — насмешливо спросил его голос Тамилы.

Нет, она не стала присылать к нему послов, а сама пришла. Значит, совсем плохи ее дела, так и не удалось ей дотанцеваться с цыганами до чего-нибудь в овраге. И это, в свою очередь, означало, что разговор, с которым она теперь вынуждена была прийти к Будулаю, предстоял не простой. Он невольно отодвинулся, когда она бесшумно опустилась рядом с ним на край его старой плащ-палатки, которая служила ему в дороге и подстилкой и одеялом.

— Ты не возражаешь, Будулай, если я посижу тут, рядом с тобой, чтобы не намочить свою юбку в росе? — И, почувствовав в темноте его движение, засмеялась: — Да ты не бойся, я к тебе совсем не за тем пришла, о чем ты подумал. Я этого и в другом месте найду, а к тебе, как я вижу, все равно за этим было бы бесполезно приходить. — Не услышав от него ответа, она снова засмеялась. — Но, конечно, ты догадываешься, почему я к тебе пришла.

— Догадываюсь, — сказал Будулай.

— Вот и хорошо. Значит, и мне не нужно будет искать к тебе какой-нибудь подход. Ты на меня не обижаешься за то, что я тебя просто Будулаем зову?

— Меня все так зовут.

— А меня можешь тоже Тамилой звать. Я думаю, мы с тобой сможем быстро договориться друг с другом. Но сперва мне надо будет закурить. Ты, конечно, не куришь, Будулай?

Он промолчал, и она, достав откуда-то пачку сигарет, закурила, на миг осветив себя пламенем спички. Совсем близко от себя он увидел ее полные, чуть вывернутые губы, сжимавшие стебелек сигареты.

— Но, конечно, ты понимаешь и то, что если бы там, перед цыганами, не взял надо мной верх, я бы сейчас не пришла к тебе.

— И это я понимаю, — сказал Будулай.

Он не увидел, а почувствовал, как она усмехнулась в темноте.

— А теперь мне деваться некуда и надо было идти. Потому что без твоей помощи теперь мне никак не обойтись. Те же самые цыгане не станут и слушать меня. А если бы я, скажем, вернулась к ним вдвоем с тобой, они, может быть, еще захотели бы меня слушать. Ты теперь у них герой. У меня к тебе, Будулай, одно деловое предложение есть. — Он пошевелился, и она, быстро дотрагиваясь рукой до его плеча, пыхнула в темноте сигаретой. — Только ты не спеши отказываться, это ты всегда успеешь. Сперва хорошенько выслушай, что я тебе скажу.

— Я, Тамила, слушаю тебя.

Ее глаза мерцали прямо перед ним, и он слышал запах каких-то духов, исходивший от нее.

— После того, как ты моих цыган совсем с толку сбил, я, конечно, уже не могла с ними говорить, на какой теперь выгодный товар лучше всего перейти. Но тебе, Будулай, скажу. Ну, например, на те же консервные кришки.

По-русски она говорила совсем чисто, только это единственное слово и затесалось к ней, но сама она не замечала его, с деловитостью в голосе поясняя ему:

— Да, да, на кришки, Будулай. Какая-нибудь маленькая круглая жестянка, три копейки ей государственная цена, а когда сезон, люди согласны за нее по пятнадцать копеек платить. Теперь посчитай-ка, Будулай, только в одном этом овраге сейчас не меньше ста цыганских телег, а в каждую можно по десять тысяч таких кришек погрузить. Я уже подсчитала: сто двадцать тысяч рублей за один только рейс. Еще и с руками оторвут. Никому же не интересно, когда урожай с личного сада гниет. И мне тут близко от Ростова известно одно местечко, где эти жестянки в складе навалом лежат. Их уже лет десять никто не считал. Ты что-то хотел сказать?

— Когда-нибудь, Тамила, их должны будут сосчитать.

Она откачнулась от него.

— Обехеэс, да? Ты, кажется, хочешь меня тюрьмой напугать?

— Нет. Если бы я и захотел, тебя невозможно напугать.

Не без глославия в голосе она согласилась:

— Это правда. Мне ведь и по специальности бухгалтера-товароведа положено весь Уголовный кодекс РСФСР на память знать, а у русских еще одна хорошая поговорка есть: от тюрьмы и от сумы отказаться нельзя. Я, Будулай, и не откажусь, когда придет мой срок, но я постараюсь, чтобы он не слишком быстро пришел. По моим годам мне еще пожить надо. Вот еще почему я пришла к тебе. Если бы ты согласился, ты бы мог мне и в этом помочь. Но только, Будулай, пожалуйста, не надо мне тут мораль читать, хорошо?.. Не люблю, когда мне начинают лекции на моральные темы читать.

Дотлевали на дне оврага костры, дотлевало вместе с ними и веселье. Среди голосов, доносившихся оттуда, уже не слышно стало голосов пожилых цыган, они, должно быть, уже разошлись к своим повозкам на покой, оставив у огня одну молодежь. И старые баяны свои они унесли с собой, оставив молодежь доганцовывать ее новые танцы под музыку транзисторов, к которой прислушивались бродившие по оврагу кони. Сверху видно было, как они то и дело поворачивали головы к огню и уши у них беспокойно шевелились.

— Я и не собираюсь, Тамила, тебе лекции читать.

— Вот и хорошо, так мы еще скорей сможем друг друга понять.— Она опять придвинулась к нему.— А теперь ты и сам, Будулай, можешь сосчитать, сколько на эти сто телег можно сразу кришек погрузить.— И тут же торжествующе сообщила:— Миллион! Если даже всем другим цыганам и полвыручки отдавать, то и тогда бы на нашу с тобой долю...— По-своему истолковывая его молчание, она гут же уступчиво предложила: — Но если для тебя это не подходит, Будулай...

— Не подходит,— подтвердил Будулай.

Должно быть, что-то в его голосе насторожило ее, потому что она требовательно переспросила:

— Только с кришками не подходит, Будулай, или вообще? Ты мне за мою откровенность тоже откровенностью плати.

— Нет, не только, Тамила, с ними.

— А...— Она снова отодвинулась от него.— Теперь я вижу, что цыганское радио не брехало, ты и в самом деле идейный рома. Но все равно я тебе не советую, Будулай, спешить. Еще неизвестно, может быть, и тебе сейчас еще больше, чем мне, нужна моя помощь. И я, кажется, знаю, чем смогу тебе помочь. Не хуже, чем та хитрая казачка, которой ты нашим глупым цыганам теперь на всю ночь голову забил. Не бойся, ничего плохого я о ней не хочу сказать, раз она твоему сыну заменила мать. Но если эта казачка его подобрала и отпоила своим молоком, то теперь уже, может быть, пришло время, когда ему больше нужна своя, цыганская мать. Чтобы она лучше помогла ему для будущей жизни свою природу открыть.— И, безошибочно перехватывая в темноте движение Будулая, она поправила: — Ну, а если не мать, то можно это и каким-нибудь другим словом назвать. Никто, конечно, не собирается его от этой колхозницы отрывать. Но и не должен же он теперь из благодарности к ней и себя на всю жизнь к деревенской жизни приговорить. Во всяком случае, уж не такая малограмотная женщина ему нужна, а городская, чтобы она помогла ему для будущей жизни и образование получить и все остальное.— И опять, подстерегая протестующее движение Будулая, она опередила его: — Знаю, что ты сейчас обо мне подумал. А я и не хочу скрывать, что не от какой-нибудь своей доброты твоего сына вспомнила сейчас. Я, Будулай, и сама слишком добрых людей не люблю, по-моему, лучше от них подальше быть. Еще нечаянно и сам как-нибудь заразишься от них этой добротой и начнешь не так, как сам хочешь, жить, а как все другие лямку тянуть. Гораздо лучше, по-моему, когда люди не этой ненадежной веревочкой связаны между собой. Вот почему и твоего сына я вспомнила, Будулай. Если бы не нужда, мне бы его можно было и еще сто лет не знать. Я в тебе нуждаюсь, Будулай, и если ты сегодня согласишься мне помочь, то завтра

и я сумею тебя отблагодарить в том, в чем ты, по-моему, теперь нуждаешься больше всего. Я ведь, когда тебе вздумалось перед нашими глупыми цыганами свое сердце открыть, прислушивалась не только к твоим словам, но и к твоему голосу, как он каждый раз спотыкался, когда ты имя своего Вани называл. И я, кажется, знаю, что тебе теперь больше всего нужно для жизни. Хотя ты и не хочешь в этом признаться самому себе, а больше всего боишься, как бы не обидеть эту свою казачку. Что же ты на все это мне скажешь, Будулай? Только не спеши и, прежде чем отказаться, подумай хорошо.

Будулай молчал. И что бы он мог ответить ей? Во всяком случае, она была откровенна с ним. Не скрывала за какими-нибудь лишними словами то, чего хотела от него. Но и вряд ли ему было бы теперь под силу разубедить ее в чем-нибудь. Она знала, что ей нужно от жизни. Ему всегда было жаль людей, которые своими же руками и уродовали свою жизнь, а она еще молодая была. Единственно он и мог сказать ей:

— Сына моего, Тамилу, ты здесь зря вспомнила. И ты опоздала уже.

Она немедленно поинтересовалась:

— Почему?

— Потому что он уже не такой, чтобы его можно было представить одну мать на другую променять.

Она осведомилась:

— Сколько ему теперь?

— Уже двадцать почти.

Она согласилась:

— Да, поздно. И, кроме этого, ты больше ничего мне не скажешь, Будулай?

— Ты же сама не хочешь, чтобы я тебе лекции читал.

— Не хочу. Я и сама хорошо знаю все то, что мне могут сказать. Что-нибудь наподобие того, что женщина я еще молодая и даже красивая, но вступила на опасный путь. И это меня не может привести к добру. Так, Будулай?

— Может быть, и так.

— Вот это-то и скучно. Я когда и сама себе начинаю все это говорить, меня тоска берет. И не за этим же я к тебе сюда пришла. Как я понимаю, мы с тобой не договоримся, Будулай?

— Не договоримся.

— И это все, что ты можешь сказать?

— Все.

— А может быть, ты все-таки еще захочешь на закуску мне какую-нибудь лекцию прочесть. Так и быть, валяй, я слушаю тебя.

— Нет.

— Почему же? Ведь ты же, Будулай, умеешь так заговаривать своими жалостливыми словами доверчивых цыган, что потом они и заснуть не могут. Видишь, еще и сейчас слоняются по оврагу, как овцы без пастуха. Ты и меня своими словами о потерянном и найденном сыночке сумел так разжалобить, что еще немного — и потекла бы заграничная краска с моих ресниц. — Голос у нее упал, как будто какая-то струна все время натягивалась в горле у нее и внезапно ослабла. — А может, и правда, Будулай, нам с тобой лучше будет договориться так, как ты подумал, когда я только что пришла к тебе. Я, конечно, здесь твоего Ваню совсем зря приплела, ты прости меня. Мне теперь без твоей помощи с этими овцами ни за что не справиться, Будулай, и я совсем потеряла разум. Мы с тобой люди взрослые, и я уверена, что ты потом не будешь жалеть. У тебя на самом деле с тех самых пор так и не было жены?

Он молчал. Отблесками меркнувших на дне оврага огней освещало ее. Никто не мог бы сказать, что некрасива она была с этой своей модной прической, с цыганскими глазами на не по-цыгански белом лице и с приподнявшейся в ожидании его ответа полной губой, из-под которой поблескивали белые зубы. Но тут память подсунула Будулаю другое лицо. Тогда тоже была ночь, озаряемая отблесками костра, и совсем другая женщина тоже была совсем откровенна с ним, предлагая себя. Только она ничего не потребовала взамен, а просто протянула ему на ладони свое сердце. И чувство вины перед Настей с новой силой охватило Будулаю, хотя он и знал, что ни в чем не виноват перед ней. А эту женщину, которая сейчас сидела перед ним в ожидании его ответа, ему опять стало жаль, как всегда бывало жаль тех людей, особенно женщин, которые своими же ногами и затапывали себя, свою душу.

Его затянувшееся молчание не обмануло ее.

— Ты только не вздумай меня жалеть, я больше всего ненавижу, когда меня начинают жалеть. — Уголек сигареты озарил ее лицо розовым светом. — И если тебе, Будулай, еще никто не говорил, то значит, я должна сказать: не цыган ты, а выродок из цыган и, значит, самый опасный для них человек. Вот такие, как ты, добрые и есть самые опасные люди. Из-за своей доброты они ни себе, ни другим людям жить не дают. А я, Будулай, хочу жить так, как я хочу.

— Для этого, Тамила, ты и со своих цыган проценты стрижешь?

— На то и глупые овцы, чтобы стригли их. Но я им тоже даю жить. А такие, как ты, не дают им жить так, как они хотят. До этого дня все цыгане в этой степи были у меня в руках. Я для них в этой местности все равно, что княгиня была, а теперь из-за тебя стала чужой. Такое не прощается, Будулай.

— Не надо меня, Тамила, пугать.

— А я-то подумала, что ты еще не забыл цыганскую жизнь.

— Ни цыганской, ни русской жизни отдельно не может быть.

Ничего больше не ответив на его слова, она гибким движением поднялась, на миг заслонив собой слабое розовое пятно на дне оврага от последнего костра, и вот уже ее легкие, быстрые шаги, удаляясь, зашелестели по траве...

*

Все меньше сочился светом и музыкой овраг, и лишь изредка языком запоздалого пламени озаряло конскую морду, дышло телеги, чью-то тень. Все цыгане уже спали, только самые упорные, молодые, иногда оглашали овраг взрывами смеха, гулким топотом.

Теперь, когда Будулай открылся им и они поняли его, ему было стыдно, что он чуждался их прежде. Какая гордыня до этого заставляла его спешить мимо их повозок и чуть ли не презирать их за то, что они, отворачиваясь от оседлого своего счастья, сами же, по его мнению, и отказывались от той жизни, которая была для них лучше? А если это потому, что они сами все еще так и не могут разобраться, что же для них лучше? И разве честнее было бы, если бы они целиком положились на мнение тех, кто за них уже все рассудил, не зная их жизни. Не все то лучше, что лучше. И разве он сам, живя среди русских, тоже за это время не стал больше русским цыганом, который теперь и наблюдает и судит жизнь своего народа со стороны. Что знает он об этой жизни, кроме того, что вынес из ранней поры своей молодости? Древнее племя со все еще детской душой и по-прежнему столь же незащитной, сколь и суровой. Может быть, поэтому и внутри других народов ему так удастся сохранить себя и оно почти нетронутым мчится сквозь все народы и времена, прикасаясь по дороге к разной жизни, но так и не успевая выбрать для себя ту, которая была бы лучше. А может быть, и само время все быстрее мчится вместе с ними, как цыган.

Свистит по сторонам ветер, а внутри все остается таким же нетронутым. Все с той же наивной полудикостью и с вечным страхом попасть в зависимость от других людей. А поэтому и нельзя задерживаться чересчур долго на одном месте. «Бэш чаворо!» Щелкает кнут, свистит ветер. И взору того, кто, давно уже выпав из згой повозки, смотрит на нее со стороны, тоже ни за что не успеть заглянуть под ее шатер и что-нибудь рассмотреть.

Вот они собрались вместе, и им хорошо, а потом опять разведутся, разбредутся по всем дорогам и опять будут как чужие друг другу.

Все меньше колебалось на дне оврага теней, и там, где догорел последний костер, скупой рдели угольки жара. Только одинокий транзистор все еще не хотел замолкать. И, вероятно, убаюканный его глуховатой странной музыкой и шорохом падавших на плащ-палатку капель росы, Будулай опять не заметил, как он переступил за грань сна. Никогда еще в жизни ему не было так хорошо, как теперь, и даже от разговора с Тамилой уже не осталось следа. Трудно было так долго держать душу на замке, а теперь вдруг сразу стало совсем легко.

Как будто откуда-то совсем издалека, из-под какой-то неслыханно тяжелой толщи пробился к нему испуганный возглас Тамилы:

— Так же вы убьете его!

И тогда уже до его слуха не так, как бывает во сне, а явственно донесся другой голос, отвечавший Тамиле прямо у него над головой:

— Нет, зачем же убивать. Он и без этого теперь забудет, как его зовут.

Голос другого адъютанта Тамилы подтвердил:

— Его ведь еще и на фронте контузить могло.

Тяжелый сон кончился, и на миг сознание Будулая, как сквозь щель, вырвалось наружу из-под пелены забытья. Краем его же плащ-палатки, которую он подстилал под себя, когда его заставляла в степи ночь, его накрыли эти дюжие молодцы Тамилы и делозито сосредоточенно избивали, уже оглушенного чем-то во сне. Один держал его ноги, всем своим телом придавив их к земле, а другой бил по голове чем-то тяжелым. Но не острым, а плоским, тупым, может быть, одним из тех диких серых камней, которых всегда много валяется по степи. И тут впервые Будулай ощутил, как сквозь ту же щель невыносимая, никогда не испытанная им до этого боль ворвалась ему в голову, разрывая ее. Его содрогание, должно быть, передалось этим двум убийцам, потому что тут же они еще крепче прижали его к земле.

— Еще копошится,— с удивлением произнес у него над головой первый голос.

— Ты только по песикам не бей,— с беспокойством предупредил тот, что держал Будулая за ноги.

— Ученого учить...

Они беззлобно переговаривались, добросовестно выполняя свою работу. Опять начала захлопываться эта щель, сквозь

которую ворвалась боль. Будулай уже почти не чувствовал ее, когда снова услышал голос Тамилы:

— Скоро начнет рассветать.

В той стороне, откуда донесся ее голос, приглушенно бормотал невыключенный мотор машины. И ответивший Тамиле другой голос теперь тоже донесся до Будулая совсем издалека:

— Сейчас.

— Только ничего не брать.

— Я и не беру. Но и эти цацки ему с отбитой памятью теперь тоже ни к чему.

Дальше Будулай уже ничего не услышал, потому что совсем захлопнулась щель. Но от прикосновения чужих холодных ладоней, по-хозяйски зашаривших у него на груди, она на мгновение разомкнулась еще раз. Режущая боль, хлынувшая в голову, опять разломилась на части, и под этими чужими руками, обшаривающими его, что-то как будто ожило в нем. Как пружина напряглась. Но еще нестерпимее было прикосновение этих рук, по-хозяйски шаривших у него на груди. До этого он один-единственный раз в своей жизни вот так же почувствовал у своего горла чужие руки, когда его вдруг подмял под себя тот немецкий ефрейтор под Будапештом, которого он хотел взять живьем, и ничего другого не оставалось, как зубами дотянуться до его горла.

Голос второго адъютанта Тамилы сказал у него в ногах:

— Вот теперь шабаш.

И тут же Будулай почувствовал, что ноги его стали свободны. Та пружина, которая ожила в нем, напряглась до отказа. И голова, несмотря на боль, разрывавшую ее, стала совсем ясной. Все-таки он когда-то разведчиком был. Ему даже пришлось в фронтовой разведшколе всю специальную науку пройти, и потом она не однажды выручала его... Еще немного бы надо подождать, пока эта рука, обшаривающая его грудь, сама наткнется на его руку. Но опять начинает смыкаться эта совсем узкая щель, и, значит, уже нельзя больше ждать. Неуловимо вкрадчивым движением своей руки он вдруг встречно перехватил запястье чужой руки своими пальцами кузнеца и, сразу же поворачиваясь со спины на бок, заломил ее в локте так, что услышал хруст кости, заглушенный криком:

— А-а-а!!!

— Ты что? — испуганно спросил у первого адъютанта Тамилы ее второй адъютант и тут же сам по-страшному закричал от того удара ногами под живот, которому когда-то учили Будулая в разведшколе. Вслед за этим и тревожный голос Тамилы донесся от того места, где верещал мотор «Волги»:

— Рома, рома, бэш чаворо!

Вот когда и она вспомнила, как это называется по-цыгански. Теперь только нужно было встать и поскорее добраться до

мотоцикла, пока они еще не пришли в себя. Волоча на себе плащ-палатку и качаясь на непослушных ногах, Будулай почти ошущью нашел мотоцикл и, перекидывая ногу в седло, нащупал рукой «газ».

Умница-мотоцикл не подвел его и на этот раз, завелся сразу. Резким рокотом его мотора огласилась тишина предрассветной степи.

Но света он пока не станет включать и поедет не к дороге, а в глубь степи, чтобы они не догнали его на своей «Волге». Темнота столько же помогала ему, сколько и мешала, скрывая на бездорожье степи брустверы старых окопов и борозды свежей зяби. Перед зарей всегда особенно темно бывает в степи.

Глухо темнел и овраг, оставшийся у него за спиной. Давно потлели и померкли последние угли костров, вокруг которых спали в своих повозках и прямо на земле крепчайшим предрассветным сном цыгане и цыганки.



Теперь у него оставался лишь единственный путь. Но перед этим ему нужно было отлежаться где-нибудь в стороне от больших дорог. Эти с усиками телохранители Тамилы так умело обрабатывали своими чугунными кулаками его, что, когда он потом выбрался на шоссе, его мотоцикл сразу же завалился из стороны в сторону и первая же встречная машина испуганно шарахнулась от него в сторону.

И перед тем как ехать дальше, ему еще нужно было о многом подумать, а для этого уединиться в каком-нибудь старом сарае в степи или под скирдой. Ему было о чем подумать.

Там, в овраге, который теперь уже остался далеко за спиной, все как будто сразу перевернулось в нем. Какой-то переворот произошел, и он не только увидел себя со стороны, но и как будто от кого-то другого услышал свои же слова: «Все деги есть деги». И вот уже при вспышках этих все ярче разгоравшихся слов он судил себя своим же собственным судом и не находил для себя пощады за то самое, что когда-то бросила ему в лицо и Настя: «Это ты от самого себя бежишь».

Но от себя, как теперь вдруг с ослепительной яркостью увидел и понял он, невозможно было убежать. И от собственного суда не уйги. Как бы там ни оправдываться перед самим собой, неизбежно наступает момент, когда на пути должен появиться тот милиционер — твоя же совесть, — который, взяв под козырек, спросит: «А чем же ты все это время занимался, уважаемый цыган Будулай?» Конечно, все, что ты можешь в свое оправдание сказать, и прекрасно и даже благородно, но разве у всех других людей, пока ты занимался собой и своим одино-

чеством, «ничего не случилось за это время, никакого горя? Не теряли они своих близких и не были столь же одиноки или несчастливы в любви? И тем не менее никто из них не бросался бежать куда глаза глядят, не бросал своего дела. Потому что у каждого человека обязательно свое дело в жизни есть и никто другой не может исполнить за него того, что может исполнить только он сам. И чем же в таком случае ты лучше тех своих соплеменников, которые снова ринулись кочевать по степи? Разве только тем, что не приворачиваешь по пути своего кочевья и не торгуешь модными поясами и галстуками, не обманываешь доверчивых людей. Но почему же, и не прибегая к обману, ты все-таки спешишь проскользнуть мимо своих соплеменников, боясь поднять на них глаза, а больше всего боясь встретиться с глазенками этих черноголовых подсолнушков, которые провожают взглядами твоего железного коня, свешиваясь через борта цыганских бричек? Уж не потому ли, что они все с тем же вопросом заглядывают тебе в душу, а ты, занятый своим одиночеством и самим собой, так и не можешь дать им того самого ответа, который они уже отчаялись получить от своих отцов и матерей: «Когда же придет всему этому конец и цыганские дети тоже начнут жить, как все остальные дети? Не будут больше и рождаться прямо в дороге на куче грязного тряпья; и мокнуть под дождем, проникающим сквозь лантухи цыганских бричек; и кувиркаться перед базарной толпой; и тянуть к костерку в угрюмой осенней степи иззябшие ручки в чешуе цыпок...»

Не получая этого ответа от своих все еще полудиких отцов и матерей, они ждут его от таких цыган, как ты, Будулай, а ты проносишься мимо, не поднимая глаз. Но когда-нибудь тебе все же придется их поднять и дать тот ответ, который этим несчастным цыганским детишкам пока еще не могут дать по своему невежеству их отцы и матери и который должны будут дать такие. Будулай, цыгане, как ты. Если только, конечно, для тебя болиг не только своя боль. Если ты еще не считаешь, что со своими орденами теперь уже раз и навсегда вышел из цыган, как тот же рома-директор со своей Золотой Звездой, и тебе тоже никакого нет дела до них и до их детей.

Рано или поздно, тебе все равно придется поднять глаза, но время не ждет, а черноголовые подсолнушки, провожая тебя, все так же свешиваются через борта жалких кибиток, и будет лучше, если ты это сделаешь раньше. Все потому же, что никто другой не сможет сделать за человека того, что может сделать только он. Если такие цыгане, как ты, Будулай, сами не побеспокоятся о судьбе своей и своих детей, никто другой — ни русские, ни какие-нибудь иные люди — не сделает это за них. Если сами же рома, и прежде всех такие рома, как ты, Буду-

лай, не начнут своими же руками развязывать этот древний узел, эту петлю на горле у своего народа, но ни русские, ни какие-нибудь иные люди не развяжут ее за вас, а смогут только помочь вам это сделать, когда вы призовете их на помощь. Каждый в своей жизни обязан исполнить свой долг, но не каждому в жизниותרяна одна и та же мера долга. Если тебя, Будулай, твои соплеменники сегодня, может быть, послушают больше, чем других цыган, то ты поспеши к ним теперь же, не откладывая на завтра, когда это, может быть, уже будет поздно. Никто за тебя не сделает того, что только ты сможешь сделать для своих цыган.

Кончился его затянувшийся отпуск.

*

Уже за станицей Бессергеновской, после того как свернул Будулай с асфальта в Раздорскую степь, догнал он одинокую бричку. Какой-то цыган в желтой рубашке сидел на вожжах, а цыганка полулежала в бричке в окружении полудюжины своих детей, невидящим взглядом провожая уползающую под колеса ленту дороги. Но когда от мотоцикла Будулая, объезжавшего бричку сгорой, шарахнулись лошади, цыганка, как подброшенная пружиной, вскочила на куче тряпья во весь рост и заголосила на всю степь. За рокотом мотоцикла слов ее нельзя было разобрать, но и без этого все было понятно Будулаю из ее более чем красноречивых жестов. И вдруг неожиданно для самого себя он нажал на тормоз: так это ведь только одна-единственная цыганка из всех, кого он знал, и умеет так размахивать руками. Теперь можно было разобрать и ее слова:

— Чтоб тебя самого шарахнуло! Чтоб тебя об землю вдарило!! Чтоб тебя!..

Полудюжина ее ребятишек присоединила к ее голосу свои звонкие голоса

И только у одного из всех цыган, каких знал Будулай, мог быть на вишневом кнутовище такой длинный кнут, который теперь свисался сразу в несколько колец, когда он, поддерживая свою подругу, угрожающе защелкал им над головой.

— Что б тебя! — Соскакивая с брички, цыганка бросилась к мотоциклу Будулая и остановилась: — Это ты, Будулай?

— Я, Шелоро, — улыбаясь, подтвердил Будулай.

— А я уже думала, что это кто-то другой чуть нас с детишками не подавил. — И Шелоро, истинная цыганка, тут же, как ни в чем не бывало, сменила гнев на милость. Будто кто-то мгновенно сменил пластинку, только что оглашавшую степь яростным визгом, на другую: — Егор, Егор! — уже кричала она, оглядываясь. — Это Будулай.

Но Егор, съехав на обочину, и сам уже соскочил с брички, улыбаясь Будулаю. В искренности его радости, вызванной их новой встречей, тоже не приходилось сомневаться.

— Вот и опять здравствуй, Будулай,— повторял он, преданно заглядывая ему в глаза, дергая одной рукой за борт пиджака, а другой закладывая свой кнут за голенище.

— А рубашечку мою, значит, тоже не гребуешь надевать. Я еще и в овраге заметила,— радовалась Шелоро.— Кыш, кыш! — крикнула она на детишек, облепивших мотоцикл Будулая, и они воробыиной стайкой вспорхнули прочь.

— Да, это конь,— без малейшей зависти похвалил Егор, лаская ладонью крыло мотоцикла.

— А у вас, я вижу, тоже завелся новый одр,— сказал Будулай, указывая глазами на невыпряженных лошадей, пощипывающих скудную осеннюю траву у дороги.

Запнувшегося с ответом Егора опередила Шелоро, опасливо порхнув куда-то за Дон своими черно-мохнатыми глазами и потом, честно округлив их, встречаясь со взглядом Будулая:

— Нет, того, что ты думаешь, Будулай, не было. За этого нового коня Егор в колхозе сарай сложил. Вот тебе крест.

И она так истово перекрестила рукой свою запыленную, грязную думалы, что Будулаю тоже захотелось поверить ей.

— Теперь вам можно не бояться в дороге.

Но у Егора все лицо вдруг сморщилось, и рыжий кустик усов задрожал на губе.

— Э, да теперь уже все равно.— Вытянув из-за голенища кнут, он взбил им на дороге столбик пыли.

Шелоро добавила:

— Люди дюже скупые стали. Какие гроши с собой были, все уже вышли, а их вон сколько...— И она вновь прикрикнула на своих цыганят, облепивших мотоцикл Будулая: — Кыш, кыш, вот я вам покручу!

Будулай спросил:

— Куда же вы теперь?

— Уже по ночам холодно в степи, Будулай,— жалобно ответила Шелоро,— а когда начнутся дожди, еще хуже будет. И ночевать с такой оравой никто не будет пускать.— Она оглянулась на детей и тут же, спохватившись, добавила:

— Нет, и этого ты не подумай, будто мы с конезавода уже съехали насовсем. От добра добра не ищут, а с нашим генералом Стрепетовым еще и цыгане могут жить. И Егорке с Машей уже скоро два месяца как надо было в школу ходить.— Она не удержалась от тщеславного сообщения: — У меня для них уже и формочка есть. А пока мы тут в совхоз под Раздорами к одному знакомому конюху едем. Если бы ты тогда, Будулай, не отказал нам коней поменять,— она смягчила эти слова винова-

той улыбкой,— то мы бы и теперь...— Но в эту минуту Егор стал постукивать кнутовищем по голенищу сапога, и она догадливо скомкала, поворачивая разговор в другое русло: — Ох и скрытный ты, Будулай. Я ведь и правда тогда не знала, что у тебя есть сын. Ты не к нему теперь едешь?

Теперь уже Будулаю нечего было скрывать:

-- И к нему.

-- Вот и хорошо,— искренне одобрила Шелоро.— А хорошо ты тогда этой Тамилке перья пощипал. Она тебя долго будет помнить

Тут Егор, понуро чертивший кнутом какие-то узоры на сером бархате дорожной пыли, поднял голову, с тревогой взглядывая на Будулаю.

-- Как по-твоему, Будулай, примет нас обратно генерал Стрепетов на конезавод или нет?

Будулай хотел было ответить, что и он с конезавода уехал уже давно, но его ведь не об этом спрашивал Егор. Нельзя было и обнадеживать людей, чтобы они, послушав его, не забились напрасно с такой кучей детишек в глухую табунную степь. Но тут же вспомнил он и свою последнюю встречу с генералом и то, как тот на свадьбе Насти слушал песню, совсем не замечая своих слез.

-- Должен принять. Только сперва вам нужно будет к Насте сходить.

Шелоро бурно обрадовалась его словам:

-- Слышал, Егор, я тебе тоже говорила, что это она только снаружи, как железная, а детей она любит, и генерал ее из всех наших цыган уважает. Спасибо тебе, Будулай. Надо, Егор, подаваться домой.

Заметно позеселел и Егор, опять затыкая кнут за голенище сапога.

— А ты на конезавод уже не вернешься, Будулай?

Надо было отвечать и на этот вопрос:

— Это зависит не только от меня.

— Конечно,— деликатно согласилась Шелоро.— На месте тебе все виднее будет.

И еще долго, отъехав от них, оглядываясь, видел он, как машут они ему руками с брички, а Егор, стоя во весь рост на передке, как, бывало, стоял он на седле лошади, совершая круг почета после скачек, умудрялся и лошадьми править, зажав вожжи в одной руке, и, подбрасывая картуз, другой рукой ловить его на лету. Как будто какая-то птица кружилась над их бричкой. И розовое пятно кофты Шелоро еще долго сквозило между придорожными лесополосами, пока не померкло в тумане.

В тот переломный час между днем и вечером, когда задонские вербы уже скрадывались зеленой мутой, но еще не улеглось за буграми солнцем, вытягивалась из хутора Вербного в степь колонна военных машин под брезентовыми навесами, из-под которых выглядывали дочерна загоревшие за это время лица курсантов, и зачехленных радаров, и амфибий, расписанных под водоросли, под серебро речного песка и желтые блики солнца.

Все хуторские женщины повисли на кольях заборов и, поворачивая вслед движению колонны головы, провожали ее, как на фронт. И почти так же кто украдкой смаргивал слезы, а кто и в открытую, ничего не стыдясь, закатывался в безутешном плаче. Катька Аэропорт долго неотступно бежала рядом с военной рацией, за рулем которой сидел ее рыжеволосый сержант, пока машина, взревев, не набрала скорость.

Кончились военные полевые занятия, и пришло для курсантов время с обжитых полевых квартир переезжать в казенные казармы, в город. И когда последний, замыкающий колонну вездеход мелькнул и скрылся за глиняной кручей, в хуторе сразу стало так тихо, как будто и в самом деле все ушли на фронт.

На задворках этого события как-то незамеченно проскользнула смерть бабки Луцилихи. Правда, обмениваясь у водопроводной колонки этой новостью, женщины с единодушием пришли к заключению, что могла бы она и еще пожить: еще крепкая старуха была, набузует мешок кукурузы и волокет на горбу из степи в хутор. Еще бы пожила, если бы за это время ей дважды не довелось пережить испуг. Сперва от какой-то цыгачки, которая гонялась за ней по всему кукурузному полю, а вскоре и от другой еще большей страсти, когда Луцилиха по обыкновению грелась перед вечером на солнышке у себя на лавочке по-над садом и прямо перед ней из забуллившего Дона вдруг всплыла громадных размеров зеленая черепаха, из-под панциря которой одна за другой показались три круглые, как арбузы, головы. Соседка Ананьевна видела, как Луцилиха на карачках добралась из-под яра до дома, влезла на кровать и потом уже не встала. Хрипела, что нету ей дышу. К утру у нее начали синеть ногти на руках, а из выпученных глаз безостановочно катились по щекам мутные слезы. Поворачивая желтые белки глаз к Ананьевне, она силилась что-то сказать, но как та ни принакала ухом к ее губам, разобрать она смогла лишь одно слово: — Ва-аню.

Все дети у Луцилихи жили где-то далеко, и отношения со своей матерью возобновляли обычно только к осени, когда у нее в бочках начинало играть молодое виноградное вино. Но Вани среди детей у нее не было. Это Ананьевна знала твердо. Един-

ственного сына Луцилихи, который летось умер в городе от па-
дучей болезни, звали Алексеем.

И еще соседка увидела, как все время дергались у Луци-
лихи руки, ссываясь по одеялу с кровати, а глаза поворачи-
вались все в одну и ту же сторону, где стоял ее обитый поло-
совым железом сундук. Но тут же Ананьевна и отшатнулась,
увидев, как желтые белки у старухи начинают закатываться
под брови и такая же запузырилась у нее в уголках обескров-
ленных губ желтая пена.

•

Ни могилы теперь не было на окраине кукурузного, уже
убранного комбайнами поля, ни рассмотреть что-нибудь внизу
под склоном горы нельзя было сквозь эту сумеречную сирене-
вую мглу, которая уже заklubилась по всем балкам от Дона в
стегь. В порожней, ничем не нарушаемой тишине только и слы-
шал Будулай удары своего сердца.

Но вот по этому беззвучию, по гулкой земле ему переда-
лась какая-то дрожь. Как будто где-то вырвалась из запруды во-
да и теперь катилась по степи валом. И чем ближе накатывался
он, тем больше стал дробиться, превращаясь в разрозненный то-
пот. Вскоре Будулай увидел и ушастые головы лошадей, сколь-
зившие над степью в оранжевом облаке взбитой ими пыли.

Ах, каким знакомым вдруг может показаться силуэт этой
длинной морды с чуткими ушами, плывущей над степью выше
всего табуна! Но еще прежде чем Будулай увидел ее, до слу-
ха его донеслись голоса сопровождавших табун людей: мужской
и женский. Слова их ему не были слышны, как не видны были
и сами люди, пока вдруг они не вынырнули прямо перед его
взором из лощинки, озаряемые со спины заревом заката.

— А правда по хутору брешут, будто у тебя с этим полков-
ником намечается кое-что? Да ты не таись, а так прямо и ска-
жи, я тебе не Катька Аэропорт, и стыдиться тебе нечего, детей
ты уже на ноги подняла. Ваня уже, считай, отрезанный кусок,
да и Нюрке в невестах недолго сидеть. Пора тебе и самой подум-
мать, как без них лучше прожить.

— Не все, дедушка Муравель, лучше, что лучше.

— Только ты тогда не забудь меня на свою свадьбу поз-
вать. Я на свадьбах давно не гулял, а на твоей очень даже не
прочь. Несмотря на протез, буду плясать. Смотри, Клавка, не
забудь.

— Не забуду. Но сперва, дедушка Муравель, мне еще нуж-
но дожить до своей свадьбы. А ты как, Громушка, считаешь,
доживем мы когда-нибудь до нее? Если ты сейчас ответишь
мне, у меня, может быть, и еще что-нибудь найдется для
тебя...

— Я к тебе, Клавдия, по-серьезному, а ты обратно за свое. Ты мне за это время совсем испортила жеребца. А потом, когда на легковой военной машине завеешься в город, мне, значит, надс будет для него каждый день по кило сахару покупать, да? И как ты его ни задабривай, он тебе все равно не ответит, это ты себе сама должна отвечать. Я бы на твоём месте и думать не стал, полковники у нас под яром не валяются. Не до смерти же тебе горько-соленой вдовой доживать.

— Ничего вы не знаете, дедушка Муравель.

До чего же иногда похожи бывают лошади! Но и такого совпадения не может быть. А что, если...

И, заложив два пальца в рот, Будулай лишь слегка, почти неслышно свистнул, как всегда это делал на конезаводе, когда ему нужно было вызвать из табуна Грома. И тут же с головы до ног затрепетал, как струна, явственно услышав восклицание:

— Гром, ты куда?

Другой грозный голос закричал:

— Эй, Гром, не балуй! Ну-ка назад!

Отделившийся от табуна Гром кособоко нес Клавдию через скошенное кукурузное поле к лесополосе, и ей не под силу было удержать этого полубезбуженного коня, повинующегося властному, только им услышанному зову. Напрасно она уговаривала его, цепляясь за гриву руками:

— Ну куда же ты, Громушка, куда?

А Будулай до этого уже совсем почти согласился поверить, что так и не бывает на земле счастья и люди только бесполезно гоняются за ним всю жизнь. И это Гром нес ее к нему, все более вырастая на закатном небе, в то время как она протестующе спрашивала у него:

— Куда же ты меня несешь, Гром? Да что с тобой?!

И все-таки Клавдии удалось справиться с ним и отвернуть его опять к табуну всего в двадцати шагах от Будулая. Но и не мог же Будулай теперь с этим согласиться, когда то, к чему он с такой силой стремился, было уже от него совсем близко. Ему оставалось только навстречу шагнуть и окликнуть ее. И он уже поднял руку, чтобы сделать это, но не смог. Ноги у него вдруг стали так тяжелы, как никогда еще в жизни, а горло как будто сдавило обручем. Странная и страшная немота вдруг овладела им. Ни руки, ни ноги, ни голос не повиновались ему. Его счастье пронеслось мимо него, а у него не осталось сил, чтобы протянуть руку и взять его. Только дробное эхо конских копыт, удаляясь по насухо затвердевшей дороге, замирало внизу под склоном.

Но разве не бывает и так: после неслыханно трудного подъема взойдет наконец на желанную крутизну человек и ляжет. В самый последний момент уже не хватит у него сил даже для того, чтобы, оглянувшись, ощутить всю высоту своего счастья.



Еще не рассвело, а лишь начал угадываться за Доном лес, когда из осеннего густого тумана, из степи вырвалась перед хутором на развилке одинокая бричка. Лошади так и забушевали в постромках, когда ездовой заломил им головы вожжами. По дну брички шарахнулись от борта к борту смуглые головки спящих детишек.

Мать, испуганно пересчитывая их, набросилась на ездового:

— Ты что, коней не можешь удержать?!

— Сама бы попробовала. Кабы она хоть немного привыкла ко мне,—огрызнулся он, озираясь.

— Куда ты хочешь повертеть, Егор? — с беспокойством спросила она, когда он потянул было за левую вожжу. — А как они наперerez?

Но когда он потянул за правую вожжу, она испугалась еще больше:

— Нет, туда нельзя.

— Ты у меня погавкаешь. — И, оборачиваясь, он щелкнул у нее над головой кнутом так, что она взвизгнула, закрывая собой детей.

Казалось, только этого и не хватало ему, чтобы прибавить решимости, он потянул за левую вожжу. Но едва только лошади стали повиноваться ему, как он тут же круто осадил их.

— Тут что-то лежит.

— Это что же еще тут может лежать... — начала она, но он оборвал ее:

— Молчи. — И, пошевелив кнутовищем что-то у колеса брички, тут же отдернул кнут. — Надо, Шелоро, поскорей отсюда. Тут нехорошим пахнет.

И он опять уже занес над лошадьми кнут, если бы не женское любопытство ее:

— А вдруг как это с машины потеряли мешок?

— Как же, чотеряют...

Но она уже перекинула ногу через борт брички.

— Дай-ка мне твой фонарик. — Круглое желтое пятно, вспыхнув у нее в руке, прошмыгнуло по дороге, и теперь Шелоро вдруг сама шарахнулась прочь от того места.

— Это человек лежит.

— А я что сказал?! Это тебе не за краденую кобылу отвечать. А ну-ка, скорей в бричку.

— А может и какой-то пьяный до дома не дошел.

Ескрапывающие лошади рвали из рук Егора вожжи. Но женское любопытство снова одержало верх. Пятнышко света еще раз вспыхнуло у колеса брички, и тут же своим возгласом Шелоро как бы погасила его:

— Это он!

— Кто?

— Будулай!

Егор громко возмутился:

— С чего бы это Будулаю пьяному поперек дороги лежать?

— Нет, он, Егор, не пьяный, он, должно быть, с седла упал, когда к сыну спешил.— Она всхлипнула.— Проклятые деточки!

— Тогда тут и мотоцикл должен быть.

— Вот он.— И неизвестно было, чему вдруг так обрадовалась она, когда на дороге опять засветилось пятно.— И рубашка на нем моя. Живой он.

— Из-за него нас теперь в два счета могут догнать.

— Но и не бросать же нам его тут.— Она уже взяла команду в свои руки.— Ты бери его за плечи, а я — за ноги. А на конезаводе мы его Насте сдадим. Она и его сыну отпишет.

— А мотоцикл, значит, бросим?

— Нет, ты предешь на нем, а мне дай вожжи.

— Тебе их не удержать.

— Не первый раз. Только ты следом поезжай.

Все так же беспробудно спали их дети, безвольно болтая головками, когда отец и мать перекачивали их, высвобождая ее в бричке. И вот уже мотор мотоцикла застрекотал в безмолвной степи.

Лошади опять метнулись в постромках.

— Я вам побунтую!— Кнут Шелоро заходил по их спинам.— Какая же, Егор, она краденая, если ты взамен свою оставил?

— Ты ей получше голову крути, а то еще не хватало, чтобы заиграла она.

— Я ей заиграю!

И тут же, будто наперекор этим словам, гнедая кобыла, шедшая в упряжке справа, огласила степь своим ржанием. Качнувшись вперед, Шелоро стегнула лошадь кнутом между ушей, и рыдающий звук застрял у нее в горле. Совсем коротко, слабо протрепетал и замер.

Но оказалось, что все-таки он услышан был. Из-под горы, где зоревал в конюшне табун, донесся по предутреннему воздуху другой точно такой же звук, только более грубый. Как будто где-то ветер зацепился за басовую струну, и она прорыдала над степью.

Не часто теперь можно услышать это рыдание в степи.

Цена 8 коп.

Индекс 70668

